Золотая Классика



Альбер

Камю

Посторонний

Посторонний
Альбер Камю

Аннотация
Альбер Камю. ПОСТОРОННИЙ
Часть I
I
II
III
IV
V
VI
Часть II
I
II
III
IV
V

Аннотация

«Посторонний», действие которого происходит в Алжире, стал одной из первых культовых книг нового поколения французской молодежи. Книга о не-герое, который ни добр, ни зол, ни нравствен, ни безнравствен, но твердо решил отказаться от лжи. Это решение, конечно же, оборачивается бедой. «Посторонний» описывает наготу человека перед лицом абсурда», — так определяет свой замысел автор. Эта книга до сих пор остается мировым бестселлером. По ее мотивам написано несколько безумных рок-композиций, роман постоянно цитируют юные бунтари, а в 2000 большинство опрошенный лондонскими социологами английских мужчин (политиков, журналистов, преподавателей, бизнесменов, студентов и школьников) назвали «Постороннего» «главной книгой, изменившей их жизнь».

В 1967 году итальянский кинорежиссёр Лукино Висконти снял фильм «Посторонний». Роль Артура Мерсо исполнил актёр Марчелло Мастроянни.

Повесть «Посторонний» занимает первое место в списке «100 книг XX века по версии Le Monde».

Альбер Камю
ПОСТОРОННИЙ

Часть I

I

Сегодня умерла мама. А может быть, вчера — не знаю. Я получил из богадельни телеграмму: «Мать скончалась. Похороны завтра. Искренне соболезнуем». Это ничего не говорит — может быть, вчера умерла.

Богадельня для стариков находится в Маренго, в восьмидесяти километрах от Алжира. Отправлюсь двухчасовым автобусом, буду там в конце дня. Значит, смогу провести ночь возле тела, а завтра к вечеру вернуться. Я попросил у патрона отпуск на два дня, и он не мог мне отказать, раз такая уважительная причина. Но видно было, что он недоволен. Я даже сказал ему: «Это ведь не по моей вине». Он не ответил, и я подумал, что зря так сказал. В общем, незачем было извиняться. Скорее уж, ему следовало выразить мне сочувствие. Но, вероятно, он сделает это послезавтра, когда увидит меня в трауре. А сейчас-то мама как будто и не умерла еще. После похорон, наоборот, все будет кончено и примет официальный характер.

Итак, я решил поехать двухчасовым автобусом. Было очень жарко. Пообедал я, как обычно,

в ресторане, у Селеста. Там все жалели меня, и Селест сказал: «Мать-то одна у человека». Когда я уходил, все проводили меня до дверей. Я немного растерялся — мне ведь еще надо было зайти к Эмманюэлю позаимствовать черный галстук и нарукавную траурную повязку: у него несколько месяцев тому назад умер дядя.

Я побежал бегом, чтобы не опоздать на автобус. Наверно, из-за этой спешки, этой беготни, да еще из-за тряски в дороге, запаха бензина, бликов света на накатанном асфальте, от слепящего солнца в небе меня одолел сон — я спал почти всю дорогу. А когда проснулся, то оказалось, что голова моя лежит на плече какого-то военного, моего соседа; он мне улыбнулся и спросил, издалека ли я еду. Я буркнул «да» — не хотелось разговаривать.

Богадельня — в двух километрах от деревни. Я дошел до нее пешком. Хотел тотчас же взглянуть на маму. Но сторож сказал, что мне надо сперва повидаться с директором. Пришлось подождать немного, директор был занят. Все это время сторож занимал меня болтовней, а потом я разговаривал с директором: он принял меня в своем кабинете. Директор — низенький старичок с орденской ленточкой в петлице. Он посмотрел на меня своими светлыми глазами, потом пожал

мне руку и долго ее не выпускал — я уж и не знал, как высвободиться.

Заглянув в какую-то папку, он сказал:

— Мадам Мерсо поступила сюда три года назад. Вы были единственной ее опорой.

Мне показалось, что он в чем-то упрекает меня, и я пустился было в объяснения. Но он прервал их:

— Вам совсем не нужно оправдываться, дорогой мой. Я ознакомился с личным делом вашей матушки. Вы не могли содержать ее. Ей нужна была сиделка. А вы получаете скромное жалование. В конечном счете у нас ей жилось неплохо.

Я сказал:

— Да, господин директор.

Он добавил:

— Знаете, у нее здесь нашлись друзья, люди ее возраста. У них были общие интересы, непонятные вашему поколению. Вы молоды, ей, вероятно, было скучно с вами.

Он сказал правду. Когда мама жила дома, она целыми днями молчала, только следила за каждым моим движением. В богадельне она первое время часто плакала. Привыкла к дому. А через несколько месяцев стала бы плакать, если б ее взяли из богадельни. Все дело в привычке. Отча-

сти поэтому я в последний год почти и не навещал мать. Да и жаль было тратить на это воскресные дни, не говоря уж о том, что не хотелось бежать на автобусную остановку, стоять в очереди за билетом и трястись два часа в автобусе.

Директор еще что-то говорил. Но я уже почти не слушал.

Наконец он сказал:

— Я думаю, вы хотите посмотреть на усопшую.

Я молча встал, и он двинулся впереди меня к двери. На лестнице он объяснил:

— У нас есть небольшой морг, и мы перенесли ее туда, чтобы не волновать других. Всякий раз, как кто-нибудь в богадельне умирает, остальные нервничают два-три дня. Тогда служащим трудно бывает с ними.

Мы прошли через двор, там было много стариков, они беседовали, собравшись кучками. Когда мы проходили мимо них, они умолкали. А за нашей спиной болтовня возобновлялась. Похоже было на приглушенную трескотню попугаев. У двери маленького строения директор расстался со мной.

— Оставляю вас, мсье Мерсо. Я буду в своем кабинете. Если понадоблюсь, пожалуйста, я к вашим услугам. Похороны назначены на десять

часов утра. Мы полагали, что таким образом вы сможете провести ночь у гроба покойницы. И вот что еще я хочу сказать: ваша матушка в разговорах со своими компаньонами, кажется, часто выражала желание, чтобы ее похоронили по церковному обряду. Я сделал необходимые распоряжения. Но считаю своим долгом поставить вас в известность.

Я поблагодарил его. Однако мама, хоть она и не была атеисткой, при жизни никогда не думала о религии.

Я вошел. Очень светлая комната, с побеленными известкой стенами и застекленным потолком. Вся обстановка — стулья и деревянные козлы. Посередине на козлах — гроб с надвинутой крышкой. На темных досках, окрашенных морилкой, выделялись чуть-чуть вдавленные в гнезда блестящие винты. У гроба дежурила арабка в белом халате и с яркой шелковой повязкой на голове.

Вслед за мной вошел сторож; должно быть, он бежал, так как совсем запыхался. Слегка заикаясь, он сказал:

— Мы закрыли гроб, но я сейчас сниму крышку, чтобы вы могли посмотреть на покойницу.

Он уже подошел к гробу, но я остановил его. Он спросил:

— Вы не хотите?

Я ответил:

— Нет.

Он прервал свои приготовления, и мне стало неловко, я почувствовал, что не полагалось отказываться. Внимательно поглядев на меня, он спросил:

— Почему? — Но без малейшего упрека, а как будто из любопытства.

Я сказал:

— Сам не знаю.

И тогда, потеребив седые усы, он произнес, не глядя на меня:

— Что ж, понятно.

У него были красивые голубые глаза и кирпичный цвет лица. Он пододвинул мне стул, затем сел и сам, позади меня. Сиделка встала и направилась к выходу. И тогда сторож сказал мне:

— Это у нее шанкр.

Я не понял, но, взглянув на женщину, увидел, что ниже глаз у нее марлевая повязка. Там, где следовало быть носу, бинт лежал совсем плоско. Лица не было — только белая повязка.

Когда женщина вышла, сторож сказал:

— Я сейчас оставлю вас одного.

Не знаю уж, какой жест я сделал, но сторож все

не уходил. Его присутствие за моей спиной смущало меня. Комнату заливал яркий свет. Гудели два шмеля, ударяясь о стеклянный потолок. Я чувствовал, что меня одолевает дремота. Я спросил сторожа, не оборачиваясь к нему:

— Давно вы здесь?

Он тотчас ответил:

— Пять лет, — как будто ждал моего вопроса.

А затем принялся болтать. Оказывается, он никак не ожидал, что ему придется доживать свой век сторожем богадельни около какой-то деревни Маренго. Ему шестьдесят четыре года, он парижанин. Тут я его прервал: «Ах, вы не здешний?» Потом мне вспомнилось, что, перед тем как провести меня к директору, он говорил со мной о маме: он сказал, что надо поскорее похоронить ее, потому что на равнине стоит дикая жара, особенно в этих краях. И добавил, что жил в Париже и все не может забыть о нем.

— В Париже покойника хоронят на третий, а то и на четвертый день. А здесь это просто невозможно, вы и представить себе не можете, как тут спешат на похоронах, — бегом бегут за катафалком.

И его жена сказала тогда:

— Да замолчи ты! Зачем такие вещи расска-

зывать?

Старик покраснел и извинился. «Нет, нет, отчего же...» — вступился я за него.

Ведь он рассказывал правду, и мне было интересно.

В морге он сообщил мне, что его определили в богадельню как человека нуждающегося. Но, чувствуя себя еще в силах работать, он попросился на место сторожа. Я заметил, что, значит, он остался жильцом богадельни. Он ответил: «Ну, уж нет...» Меня поразил тон, каким он произносил «они», «эти самые» или (изредка) «старичье», когда говорил об обитателях богадельни, хотя некоторые из них были не старше его. Но разумеется, он занимал совсем другое положение. Он ведь состоял сторожем и в некотором роде был начальником над ними.

В эту минуту вошла сиделка. Уже наступил вечер, над стеклянной крышей быстро сгустилась темнота. Сторож повернул выключатель, и меня ослепил внезапно вспыхнувший свет. Сторож пригласил меня в столовую пообедать. Но я отказался, мне не хотелось есть. Тогда он предложил мне выпить чашку кофе с молоком. Я согласился, так как очень люблю кофе с молоком, и вскоре он принес мне на подносе чашку кофе. Я выпил

ее. И тогда мне захотелось покурить. Сперва я колебался, можно ли курить возле гроба. Подумав, решил, что это не имеет значения. Я угостил сторожа сигаретой, и мы с ним покурили.

Потом он сказал:

— Знаете, друзья вашей матушки придут посидеть возле нее, таков обычай. Мне надо сходить за стульями и за черным кофе.

Я спросил, нельзя ли погасить одну лампу. Яркий свет отражался от белых стен, и мне резало глаза. Сторож ответил, что одну погасить нельзя, такая уж проводка: или все лампы горят, или все погашены. Я почти уже и не обращал на него внимания. Он вышел, потом вернулся, принес стулья, расставил их. На один стул водрузил кофейник и горку чашек. Потом сел напротив меня, по другую сторону гроба. Сиделка тоже пристроилась на стуле в углу, повернувшись спиной ко мне. Я не видел, что она делает, но по движению ее плеч и рук догадывался, что она вяжет. Было тепло, я согрелся от выпитого кофе; в открытую дверь вливались запахи летней ночи и цветов. Должно быть, я задремал.

Проснулся я от какого-то шороха. Со сна стены морга показались мне невероятно сверкающей белизны. Вокруг не было ни малейшей тени, и

каждая вещь, каждый угол, все изгибы вырисовывались так резко, что было больно глазам. Как раз тогда и пришли мамины друзья. Их было человек десять, и все они бесшумно двигались при этом ослепительном свете. Вот они расселись, но очень осторожно — ни один стул не скрипнул. Я смотрел на них и видел так четко, как никогда еще никого не видел, я замечал каждую складочку на их лицах, каждую мелочь в одежде. Однако я не слышал их голосов, и мне как-то не верилось, что это живые люди. Почти все женщины были в передниках, стянутых в поясе, и от этого у них заметно выступал живот. Никогда раньше я не замечал, какие большие животы бывают у старух. А мужчины почти все были очень худые и держали в руках трости. Меня поразило то, что глаз на их старческих лицах я не видел, — вместо глаз среди густой сетки морщин поблескивал тусклый свет. Пришельцы расселись, и большинство уставилось на меня, шевеля едва заметными губами, провалившимися в беззубый рот, и неловко кивали головой; я не мог понять — здороваются они со мной или это у них просто головы трясутся. Думаю, скорее, что они здоровались. Я обратил внимание, что кивали они, усевшись напротив меня, справа и слева от сторожа. На минуту мне

пришла нелепая мысль, будто они явились судить меня.

Немного погодя одна из женщин расплакалась. Она сидела во втором ряду, позади другой женщины, и мне было плохо ее видно. Она плакала долго, всхлипывала, вскрикивала, и мне казалось, что она никогда не кончит. Остальные как будто и не слышали ее. Они сидели понурившись, мрачные и безмолвные, уставившись в одну точку: кто смотрел на гроб, кто на свою палку или на что-нибудь еще. Та женщина все плакала. Меня это очень удивляло — какая-то незнакомая старуха. Мне хотелось, чтобы она перестала. Но я не решался успокаивать ее. Сторож наклонился и заговорил с ней, но она отрицательно покачала головой, что-то пролепетала и опять стала плакать и равномерно всхлипывать. Тогда сторож обошел гроб и сел рядом со мной. Он долго молчал, потом сообщил, не глядя на меня: «Она была очень дружна с вашей матушкой. Говорит, что покойная была здесь единственным близким ей человеком и теперь у нее никого нет».

Прошло много времени. Плакавшая женщина все реже вздыхала и всхлипывала. Зато громко шмыгала носом. Наконец она умолкла. Сон у меня прошел, но я очень устал, да еще болела

поясница. Теперь мне было тяжело, что все эти люди молчат. Лишь время от времени я слышал какой-то странный звук и не мог понять, что это такое. В конце концов я догадался, что кое-кто из стариков сосет свои щеки, оттого и раздается это удивительное чмоканье. Они его не замечали, так как погружены были в свои мысли. Мне даже показалось, что покойница, лежавшая перед ними, ничего для них не значила. Но теперь я думаю, что это было ошибочное впечатление.

Мы все выпили кофе, которое нам подал сторож. А дальше я уж не знаю, что было. Прошла ночь. Помню, как на мгновение я открыл глаза и увидел, что старики спят, тяжело осев на стульях, и только один оперся на набалдашник своей палки, положил подбородок на руки и смотрит на меня в упор, будто ждет не дождется, когда же я проснусь. Потом я опять уснул. Проснулся я из-за того, что очень больно было спине. Над стеклянным потолком брезжил рассвет. Один из стариков проснулся и сразу зашелся кашлем. Он отхаркивался в клетчатый платок, и казалось, что с каждым плевком у него что-то отрывается внутри. Он и других разбудил своим кашлем, и сторож сказал, что уже пора уходить. Старики встали. Всех утомило это бдение у гроба, у всех

были серые, землистые лица. К моему удивлению, каждый на прощание пожал мне руку, как будто эта ночь, которую мы провели вместе, не перемолвившись ни словом, сблизила нас.

Я устал. Сторож позвал меня в свою каморку, и я немного привел себя в порядок. Потом я опять выпил очень вкусного кофе с молоком. Когда я вышел, уже совсем рассвело. Над холмами, отделяющими деревню Маренго от моря, в небе тянулись красные полосы. И ветер, налетавший оттуда, приносил запах соли. Занимался ясный, погожий день. Я давно уже не был за городом и с большим удовольствием пошел бы прогуляться, если бы не смерть мамы.

Пришлось ждать во дворе, под платаном. Я вдыхал запах вскопанной земли и уже совсем не хотел спать. А что сейчас делают мои сослуживцы? Встают, конечно, собираются идти в контору — для меня это всегда был самый трудный час. Некоторое время я думал обо всех этих вещах, но меня отвлекло бряканье колокола, звонившего где-то в корпусах богадельни. За ее окнами пошла какая-то суматоха, потом все стихло. Солнце поднялось выше и уже начало припекать мне ноги. Прошел через двор сторож и сказал, что меня зовет директор. Я пошел в кабинет. Директор дал

мне подписать довольно много бумаг. Я заметил, что на нем черный пиджак и черные брюки в полоску. Он взял в руки телефонную трубку.

— Служащие из похоронного бюро уже явились. Я сейчас попрошу их закрыть гроб. Хотите в последний раз взглянуть на свою матушку? — Я ответил: «Нет». Тогда он приказал по телефону, понизив голос:

— Фижак, скажите своим людям, пусть начинают.

Затем сообщил мне, что он будет присутствовать на похоронах, и я поблагодарил его. Он сел на письменный стол и, скрестив свои коротенькие ножки, добавил, что кроме меня и его, пойдет еще медицинская сестра. Но стариков и старух не будет: по правилам богадельни ее обитателям не полагалось присутствовать на погребении. Директор позволял им только провести ночь у гроба. «Этого требует человечность», — заметил он. Но в данном случае он дал разрешение одному из друзей мамы проводить ее на кладбище. «Его зовут Томас Перес». И тут директор, улыбнувшись, сказал:

— Вы, конечно, понимаете. Это было немного ребяческое чувство. Но они с вашей мамой были неразлучны. В богадельне над ними подтруни-

вали, говорили Пересу: «Эта ваша невеста». Он смеялся. Им обоим это доставляло удовольствие. И надо сказать, смерть мадам Мерсо глубоко его опечалила. У меня не хватило духу отказать ему. Но по совету врача, навещающего нас, я ему запретил провести ночь у гроба.

Мы довольно долго молчали. Потом директор встал и, посмотрев в окно кабинета, сказал:

— Уже пришел из Маренго священник. Поспешил немного.

И тут директор предупредил меня, что придется идти пешком минут сорок пять — церковь находится в самой деревне. Мы вышли во двор. Возле морга стоял священник и двое мальчиков — певчие. Один из них держал в руке кадило, а священник, наклонившись, уравнивал длину серебряных цепочек. Когда мы подошли, священник выпрямился. Он назвал меня «сын мой» и сказал мне несколько утешительных слов. Затем он вошел в морг, я последовал за ним.

Я сразу заметил, что винты на крышке гроба уже ввинчены и в комнате стоят четыре человека в черном. Директор сказал мне, что катафалк ждет на дороге. Священник начал читать молитвы. С той минуты все пошло очень быстро. Люди в черном подошли к гробу, накинули на него

покров. Священник, служки, директор и я вышли из морга. У двери стояла незнакомая мне дама. Директор представил ей меня: «Мсье Мерсо». Фамилии дамы я не расслышал, только понял, что это медицинская сестра. Она без тени улыбки склонила свое длинное и костлявое лицо. Мы расступились, чтобы пропустить гроб, двинулись вслед за факельщиками, которые несли его, и вышли со двора богадельни. За воротами ждал катафалк — длинный, лакированный, блестящий ящик, похожий на ученический пенал. Рядом застыли распорядитель процессии, маленький человечек в нелепом одеянии, и какой-то старичок актерской внешности. Я понял, что это мсье Перес. Когда гроб вынесли из морга, он снял свою широкополую фетровую шляпу с круглой низкой тульей; на нем был черный костюм (брюки штопором спускались на ботинки); черный галстук, завязанный бантом, казался очень уж маленьким по сравнению с широким отложным воротником белой рубашки; нос Переса был в черных точках, губы дрожали. Седые, совсем белые и довольно пушистые волосы не закрывали ушей, и они поразили меня, эти уши — какие-то дряблые, почти без кромки да еще багрового цвета, который подчеркивал мертвенную бледность

лица. Распорядитель похорон назначил каждому место. Впереди — священник, за ним — катафалк. По углам катафалка — четыре факельщика, за ним — директор и я, а замыкали процессию медицинская сестра и Перес.

В небе сияло солнце. Оно жгло землю, и зной быстро усиливался. Почему-то мы довольно долго ждали, прежде чем тронуться. Я изнемогал от жары в темном своем костюме. Перес надел было шляпу и снова ее снял. Немного повернувшись, я смотрел на него. Директор сказал, что моя мать и этот Перес часто прогуливались тут по вечерам в сопровождении сиделки и доходили до самой деревни. Я посмотрел, какой пейзаж вокруг. Увидел ряды кипарисов, поднимавшихся к небу над холмами, рыжую и зеленую долину, разбросанные в ней, отчетливо видные домики — и я понял маму. Вечерами эта картина, должно быть, навевает чувство тихой грусти и покоя. А сейчас сверкает солнце, дрожат струи горячего воздуха и весь этот пейзаж кажется бесчеловечным, гнетущим.

Мы двинулись. И только тогда я заметил, что Перес прихрамывает. Катафалк постепенно набирал скорость, и старик стал отставать. Отстал также один из факельщиков и пошел рядом со мной. Меня удивило, как быстро поднимается в

небе солнце. Я вдруг заметил, как вокруг жужжат в поле насекомые и шуршит трава. По щекам у меня стекал пот. Так как я приехал без шляпы, то обмахиваться мог только носовым платком. Факельщик что-то сказал мне, но я не расслышал его слов. Он вытирал свой голый череп носовым платком, который держал в левой руке, а правой приподнимал фуражку. Я переспросил:

— Что вы говорите?

Он повторил, указывая на небо:

— Печет!

Я согласился: «Да». Немного погодя он спросил:

— Кого хороните? Мать?

Я опять сказал:

— Да.

— Старая была?

Я ответил:

— Не очень. — Я не знал в точности, сколько маме лет.

Факельщик умолк. Обернувшись, я увидел, что Перес отстал шагов на сто. Он старался догнать нас и торопливо ковылял, размахивая шляпой. Я посмотрел также на директора. Он вышагивал с большим достоинством, не делая ни одного лишнего жеста. У него выступили на лбу капли пота, но он не вытирал их.

Мне казалось, что процессия движется еще быстрее. Вокруг была все та же долина, залитая солнечным светом. Сверкание неба было просто нестерпимым. Некоторое время мы шли по недавно отремонтированному отрезку шоссе. Солнце расплавило асфальт. Ноги вязли в нем, оставляли глубокие следы в его блестящей мякоти. Над катафалком покачивался клеенчатый цилиндр кучера, как будто сделанный из этой черной смолы. У меня немного кружилась голова — вверху синева неба и белые облака, внизу — чернота, только разных оттенков: развороченная липкая чернота асфальта, тусклая чернота траурной одежды, блестящая чернота лакированного катафалка. А тут еще солнце, запах кожи и конского навоза от упряжки, тянувшей катафалк, запах лака, запах ладана, усталость после бессонной ночи — право, у меня все поплыло в глазах и в мыслях. Я еще раз обернулся, и мне показалось, что Перес где-то далеко-далеко в дымке знойного дня, а потом он совсем исчез. Я поискал его взглядом и увидел, что он сошел с дороги и идет полем. Впереди, как я заметил, дорога делала поворот. Я понял, что Перес, хорошо зная местность, пошел кратчайшим путем, желая догнать нас. На повороте ему это удалось. Потом

мы опять его потеряли. Он снова пошел полем — и так было несколько раз. А я чувствовал, как у меня от прилива крови стучит в висках.

Дальше все развернулось так быстро, так уверенно и естественно, что совсем не задержалось в памяти. Помню только, что у въезда в деревню медицинская сестра заговорила со мной. У нее был удивительный голос, совсем не вязавшийся с ее лицом, мелодичный и теплый. Она сказала:

— Если идти потихоньку, рискуешь получить солнечный удар. Но если идти очень уж быстро, разгорячишься, а в церкви прохладно и можно простудиться.

Она говорила верно. Но выбора не было. У меня сохранились еще кое-какие обрывки воспоминаний от этого дня, например лицо Переса, когда он в последний раз догнал нас около деревни. По щекам у него бежали крупные слезы — как видно, он страшно устал да еще нервничал. Но у него было столько морщин, что слезы не стекали. Они сливались вместе, расплывались, покрывая его увядшее лицо блестящей влажной оболочкой. Потом еще была церковь и жители деревни на тротуаре, красные цветы герани, украшавшие могилы на кладбище, обморок Переса (он упал, как сломавшийся паяц), кроваво-красная земля,

катившаяся на мамин гроб, белые корешки растений, видневшиеся в ней, и опять какие-то люди, голоса, деревня, ожидание возле кофейни, непрестанное гудение мотора — и моя радость, когда автобус въехал в Алжир и засверкали созвездия его огней. Я подумал тогда, что сейчас лягу в постель и просплю не меньше двенадцати часов.

II

Проснувшись, я понял, почему у моего патрона был такой недовольный вид, когда я попросил дать мне отпуск на два дня, — ведь сегодня суббота. Я совсем и забыл об этом, но когда встал с постели, сообразил, в чем дело: патрон, разумеется, подсчитал, что я прогуляю таким образом четыре дня (вместе с воскресеньем), и это не могло доставить ему удовольствие. Но ведь я же не виноват, что маму решили похоронить вчера, а не сегодня, да в субботу и в воскресенье все равно мы не работаем. Однако я все же могу понять недовольство патрона.

Встать с постели было трудно: я очень устал за вчерашний день. Потом я занялся бритьем, обдумал за это время, что буду делать, и решил пойти купаться. Я доехал в трамвае до купален в гавани. Там я поднырнул в проход и выплыл в море. Было много молодежи. В воде я столкнулся с Мари Кардона, бывшей нашей машинисткой, к которой меня в свое время очень тянуло. Кажется, и ее ко мне тоже. Но она скоро уволилась из нашей конторы, и мы больше не встречались. Я помог ей взобраться на поплавок и при этом

дотронулся до ее груди. Я еще был в воде, а она уже устроилась загорать на поплавке. Она повернулась ко мне. Волосы падали ей на глаза, и она смеялась. Я взобрался на поплавок и лег рядом с нею. Было очень хорошо; я, как будто шутя, запрокинул голову и положил ее на живот Мари. Она ничего не сказала, я так и остался лежать. Перед глазами у меня было небо, голубая и золотистая ширь. Головой я почувствовал, как дышит Мари, как у нее тихонько поднимается и опадает живот. Мы долго лежали так, в полусне. Когда солнце стало припекать очень сильно, Мари бросилась в воду, я — за ней. Я догнал ее, обхватил за талию, и мы поплыли вместе. Она все смеялась. На пляже, пока мы сохли, она сказала: «Я больше загорела, чем вы». Я спросил, не хочет ли она вечером пойти в кино. Она опять рассмеялась и сказала, что не прочь посмотреть какую-нибудь картину с участием Фернанделя. Когда мы оделись, она очень была удивлена, увидев на мне черный галстук, и спросила, уж не в трауре ли я. Я сказал, что у меня умерла мать. Она полюбопытствовала, когда это случилось, и я ответил:

— Вчера похоронили.

Она чуть-чуть отпрянула, но ничего не сказала. Мне хотелось сказать: «Я тут не виноват», однако

я промолчал, вспомнив, что то же самое сказал своему патрону. Но в общем, это ничего не значило. Человек всегда бывает в чем-то немножко виноват.

К вечеру Мари все позабыла. Фильм был местами забавный, а местами совсем дурацкий. Мари прижималась ко мне, я гладил ее грудь. К концу сеанса я поцеловал ее, но как-то неловко. После кино она пошла ко мне.

Утром, когда я проснулся, Мари уже не было. Она мне объяснила, что должна пойти к тетке. Я подумал: «Ведь нынче воскресенье», и мне стало досадно: я не люблю воскресных дней. Тогда я перевернулся на другой бок и, уткнувшись носом в подушку, где волосы Мари оставили запах моря, проспал до десяти часов. Проснувшись, валялся в постели до двенадцати, курил сигареты. Не хотелось идти, как обычно, завтракать к Селесту — там меня, конечно, стали бы расспрашивать, а я расспросов не люблю. Я изжарил себе яичницу и съел ее прямо со сковородки и без хлеба, потому что хлеб весь вышел, а мне лень было сходить в булочную.

После завтрака я от скуки бродил по квартире.

Когда тут жила мама, у нас было уютно. Потом квартира стала велика для меня, пришлось пе-

ретащить обеденный стол из столовой ко мне в спальню. Я теперь живу только в этой комнате — там у меня стоят стулья с соломенными обвисшими сиденьями, зеркальный шкаф — зеркало в нем пожелтело, умывальник и кровать с медными столбиками. Все остальное в забросе. Походив, я взял старую газету, почитал ее. Вырезал для потехи объявление, рекламирующее слабительные соли «Крюшен», и наклеил его в старой тетрадке, куда собираю всякие забавные штуки из газет. Потом вымыл руки и в конце концов вышел на балкон.

Моя комната выходит окнами на главную улицу предместья. День стоял погожий. Однако ж асфальт на мостовой казался мокрым. Прохожих было мало, и шли они торопливо. Потом появились семьи, вышедшие на прогулку; в одной, например, впереди шествовали два мальчугана в матросках с короткими брючками пониже колена, оба неловкие в своих накрахмаленных одежках; за мальчиками шла девочка с большим розовым бантом и в черных лакированных туфельках. Позади — огромная мамаша, в коричневом шелковом платье, и папаша — маленький, худенький человечек, которого я знал по виду. У него была соломенная шляпа канотье, гал-

стук бабочкой, в руке трость. Увидев его рядом с женой, я понял, почему у нас в квартале он считается очень изящным. Немного позднее прошли молодые щеголи нашего предместья — волосы прилизаны и покрыты лаком, галстук красный, в кармашке пиджака, облегающего талию, вышитый платочек, на ногах полуботинки самого модного фасона. Я подумал, что, наверно, они отправились в центр, в большие кинотеатры. Поэтому и выбрались из дому так рано и с громким хохотом спешат к остановке трамвая.

А после них улица обезлюдела. Ведь всякие зрелища уже начались. Больше никого не видно было, кроме лавочников и кошек. Над фикусами, окаймлявшими улицу, все так же синело чистое, но уже не сияющее небо. На противоположном тротуаре хозяин табачной вытащил из лавки стул, поставил его у двери и, сев на сиденье верхом, оперся на спинку обеими руками. Вагоны трамвая только что пробегали битком набитые, а теперь шли почти пустые. В маленьком кафе «У Пьеро», рядом с табачной, гарсон подметал в пустом зале пол, посыпанный опилками. Да, все как положено в воскресенье.

Я перевернул стул, поставил его, как хозяин табачной лавки, и нашел, что так сидеть удобнее.

Выкурив две сигареты, я вернулся в комнату и, взяв плиточку шоколада, устроился у окна, чтобы съесть ее. Небо нахмурилось, и я уже думал, что налетит внезапная летняя гроза. Но погода прояснилась. Однако от туч, проползавших по небу и грозивших дождем, на улице потемнело. Я долго сидел у окна и смотрел на небо.

В пять часов опять загрохотали трамваи. С пригородного стадиона возвращались любители футбола, облепившие и площадку, и ступеньки, и буфера. Следующие трамваи привезли самих игроков, которых я узнал по их чемоданчикам. Они пели и орали во все горло, что их команда покрыла себя славой. Некоторые махали мне рукой. Один даже крикнул: «Наша взяла!» А я ответил: «Молодцы!» — и закивал головой. Потом покатилась волна автомобилей.

День все тянулся. Небо над крышами стало красноватым, и с вечерними сумерками улицы ожили. Люди возвращались с прогулок. Среди них я заметил «изящного господина». Дети хныкали, родителям приходилось тащить их за руки. И почти тотчас же из нашего кинотеатра хлынула толпа зрителей. Судя по решительным резким жестам молодых парней, там показывали приключенческий фильм. Немного позднее

вернулись те, кто ездил в центральные кинотеатры. Эти вели себя более сдержанно. Они еще смеялись, но время от времени задумывались и казались усталыми. Домой им, как видно, не хотелось — они прохаживались по тротуару на противоположной стороне улицы. Девушки из нашего квартала тоже прогуливались под ручку. Парни старались преградить им дорогу, выкрикивали шуточки, и девушки, отворачиваясь, хихикали. Некоторых красоток я знал, и они мне кивали.

Вдруг зажглись уличные фонари, и тогда побледнели первые звезды, мерцавшие в ночном небе. Мне надоело смотреть на тротуары, на прохожих, на горевшие огни. Под фонарями блестел, как мокрый, асфальт мостовой; пробегавшие с равномерными промежутками трамваи бросали отсветы своих огней на чьи-нибудь блестящие волосы, улыбающиеся губы или серебряный браслет. А потом трамваи стали пробегать реже, над деревьями и фонарями нависла густая тьма, мало-помалу квартал опустел, и уже первая кошка медленно пересекла вновь обезлюдевшую улицу. Я вспомнил, что надо поесть. У меня немного болела шея — оттого что я долго сидел, навалившись локтями на спинку стула. Сходив в

лавку за хлебом и макаронами, я состряпал себе ужин и поел стоя. Потом я хотел было выкурить у окна сигарету, но стало прохладно, и я продрог. Я затворил балконную дверь, затворил окно и, возвращаясь, увидел в зеркале угол стола, а на нем спиртовку и куски хлеба. Ну вот, подумал я, воскресенье я скоротал, маму уже похоронили, завтра я опять пойду на работу, и, в общем, ничего не изменилось.

III

Сегодня пришлось много поработать в конторе. Патрон встретил меня весьма любезно. Спросил, не очень ли я устал и сколько лет было маме. Чтобы не ошибиться, я сказал: «Уже за шестьдесят». Не знаю почему, но вид у него был такой, словно ему стало легче оттого, что дело можно считать законченным.

На моем столе скопилась груда коносаментов, которые надо было разобрать. Перед тем как пойти позавтракать, я вымыл руки. В полдень это приятно — не то что вечером: тогда полотенце на катушке всегда бывает совершенно мокрое — ведь им пользовались целый день. Однажды я сказал об этом патрону. Он ответил, что это мелочь досадная, но не имеющая значения. Я немного задержался и вышел только в половине первого вместе с Эмманюэлем из экспедиции. Наша контора выходит на море, и мы зазевались, разглядывая пароходы, стоявшие в порту, где все сверкало на солнце. Как раз тут подъехал грузовик, громыхая цепями и выхлопами газа. Эмманюэль спросил: «Может, вскочим?» И я побежал к грузовику. Но он уже тронулся, и

мы помчались за ним вдогонку. Меня оглушал грохот, ослепляла пыль. Я ничего не видел и не чувствовал, весь отдавшись бездумному порыву этой гонки среди лебедок, подъемных кранов, корабельных мачт, танцующих вдали на волнах, и причаленных судов, мимо которых мы бежали. Я первым схватился за борт и вскочил в кузов. Потом помог Эмманюэлю, и мы уселись. Оба мы запыхались, едва дышали; грузовик подпрыгивал на неровных булыжниках набережной, кругом летала пыль, сверкало солнце. Эмманюэль закатывался хохотом.

Мы обливались потом, когда добрались до Селеста. Он, как всегда, восседал на своем месте, седоусый, толстобрюхий, в длинном фартуке. Он спросил меня:

— Все-таки идут дела-то? — Я ответил, что «все-таки идут» и что я очень проголодался. Быстро расправившись с завтраком, я выпил кофе. Потом забежал домой, поспал немного, потому что хватил лишний стаканчик вина. Когда проснулся, очень захотелось курить. Но было уже поздно, я побежал к трамвайной остановке. В конторе опять засел за работу, в жаре, в духоте. Зато вечером было так приятно, возвращаясь домой, медленно идти по набережным. Небо уже

принимало зеленоватый оттенок, на душе было тихо, спокойно. И все же я пошел прямо домой, хотелось сварить себе на ужин картошки.

Поднимаясь по темной лестнице, я наткнулся на своего соседа, старика Саламано. Он вел на поводке собаку. Вот уже восемь лет, как они неразлучны. Собака хорошей породы — спаниель, но вся в каких-то паршах, почти что облезла, покрылась болячками и коричневыми струпьями. Старик Саламано живет одиноко вместе с ней в маленькой комнатушке и в конце концов стал похож на своего пса. На лице у него красноватые шишки, вместо усов и бороды желтая реденькая щетина. А собака переняла повадки хозяина: ходит, сгорбившись, мордой вперед и вытянув шею. Они как будто одной породы, а между тем ненавидят друг друга. Два раза в день — в одиннадцать утра и в шесть вечера старик выводит свою собаку на улицу. Все восемь лет маршрут их прогулок не меняется. Их непременно увидишь на Лионской улице. Собака бежит впереди и так сильно натягивает поводок, что Саламано спотыкается. Тогда он бьет ее и ругает. Она в ужасе распластывается, ползет на животе. Старику приходится тащить ее. Теперь его черед натягивать поводок. Потом собака все забывает,

снова тянет за собой хозяина, и снова он бьет ее и ругает. Вот оба они стоят на тротуаре и смотрят друг на друга — собака с ужасом, человек — с ненавистью. И так бывает каждый день. Когда собака хочет помочиться, старик не дает ей на это времени, тянет ее, и она семенит за ним, оставляя на тротуаре длинную полосу капелек. Если ей случится сделать свои дела в комнате, Саламано опять ее бьет. И все это тянется уже восемь лет. Селест всегда говорит: «Вот несчастные!», но кто разберется, верно ли это? Когда я встретился на лестнице с Саламано, он как раз ругал свою собаку: «Сволочь! Падаль!», а собака скулила. Я сказал: «Добрый вечер!», но старик все ругался. Тогда я спросил, что ему сделала собака. Он ничего не ответил, а только твердил: «Сволочь! Падаль!» Я смутно видел, что он наклонился над собакой и что-то поправляет на ее ошейнике. Я повторил вопрос громче. Тогда он, не оборачиваясь, ответил с каким-то сдержанным бешенством: «Пропади она пропадом!» И потащил за собой собаку, а она упиралась всеми четырьмя лапами и жалобно скулила.

Как раз в эту минуту подошел второй мой сосед, с той же лестничной площадки. В квартале говорили, что он сутенер, живет на счет жен-

щин. Однако, когда спрашивают, какая у него специальность, он называет себя кладовщиком. В общем, его очень не любят. Но со мной он часто заговаривает и даже заходит ко мне на минутку, потому что я его слушаю, Я нахожу, что он рассказывает интересные вещи. И у меня нет никаких оснований отворачиваться от него. Его зовут Раймон Синтес. Он невысок ростом, широкоплеч, а нос у него, как у боксера. Одет всегда очень прилично. Про старика Саламано и его собаку он тоже мне как-то сказал: «Вот несчастные!» И спросил, не противно ли мне глядеть на них. Я ответил, что нет, не противно.

Мы поднялись вместе с Раймоном, и я уже собирался проститься с ним, но он сказал:

— У меня дома есть кровяная колбаса и вино. Не хотите ли поужинать со мной?

Я подумал, что тогда мне не надо будет стряпать, и принял приглашение. У него совсем маленькая квартира — одна комната и кухня без окна. Над кроватью стену украшают гипсовый ангел, белый с розовым, фотографии чемпионов и две-три картинки из журналов: голые женщины. В комнате было грязно, постель не прибрана. Раймон сначала зажег керосиновую лампу, потом вытащил из кармана бинт сомнительной чисто-

ты и перевязал себе правую руку. Я спросил, что с ним? Он сказал, что подрался с одним типом, который не дает ему проходу.

— Знаете ли, мсье Мерсо, — объяснил он. — Я парень совсем не злой, но вспыльчивый. А тот тип сказал мне: «Ну-ка слезь с трамвая, если ты не трус». Я ему говорю: «Ладно, сиди спокойно». А он мне говорит: «Ну, значит, ты трус». Тогда я сошел с трамвая и говорю ему: «Заткнись лучше, а не то я тебе покажу». А он отвечает: «Чего ты мне покажешь?» Ну я ему и дал раза. Он упал. Я подошел, хотел его поднять, а он лежит на земле и лягается. Тут я его коленкой прижал и — на, получай! Две оплеухи. У него вся морда в крови. Я спрашиваю: «Хватит с тебя?» Он говорит: «Хватит».

Рассказывая все это, Синтес перевязывал себе руку. Я сидел на кровати. Он сказал:

— Вы же видите, не я, а он на драку набивался. Сам полез.

Я признал, что это верно. Тогда Синтес заявил, что он как раз хотел попросить у меня совета насчет этой истории, поскольку я человек самостоятельный, знаю жизнь и, стало быть, могу помочь ему, а после этого он станет моим приятелем. Я ничего не ответил, и он переспросил, хочу ли я быть его приятелем. Я сказал, что мне

безразлично, и он, по-видимому, остался доволен. Он достал кровяную колбасу и поджарил ее на сковороде, принес стаканы, тарелки, приборы, накрыл на стол, поставил две бутылки вина. И все это молча. Потом мы сели ужинать. За едой он начал мне рассказывать свое приключение. Сначала говорил как-то нерешительно, мялся:

— Я свел знакомство с одной дамой… ну, попросту говоря, она моя любовница.

Оказалось, человек, с которым он подрался, брат этой женщины. Синтес сказал, что содержал свою любовницу. Я ничего не ответил, но он тут же добавил, что ему известно, какие слухи ходят о нем в нашем квартале, однако у него совесть чиста — он действительно работает кладовщиком.

— А история со мной вот какая случилась, — продолжал он. — Я заметил обман.

Оказывается, он давал любовнице сколько надо на жизнь. Сам платил за ее комнату и выдавал по двадцать франков в день на еду.

— Триста франков комната, шестьсот франков на еду, кой-когда пара чулок, в общем, тысяча франков. И при этом мадам не работала. Но она жаловалась, что я мало даю, моих денег ей не хватает. А я ей говорил: «Почему ты не работаешь? Ведь полдня ты можешь работать? Покупала бы

себе всякую мелочь, мне бы легче было. Я тебе купил в этом месяце костюмчик, даю по двадцать франков в день, плачу за твою комнату, а ты днем, когда меня нет, угощаешь своих подружек, распиваешь с ними кофе. Не жалеешь для них ни кофе, ни сахару. Я даю тебе денег, я о тебе забочусь, а ты плохо со мной поступаешь». Но она работать не желала, только все жаловалась, что денег ей не хватает, и вот я заметил обман.

Раймон рассказал, что однажды он нашел в ее сумочке лотерейный билет и любовница не могла объяснить, откуда у нее этот билет. Немного позднее он еще нашел ломбардную квитанцию, оказалось, что она заложила два браслета. А он до тех пор и знать не знал ни о каких браслетах.

— Ну, стало быть, я увидел, что тут обман, и бросил ее. Но сперва как следует вздул. А потом выложил ей всю правду. Я сказал, что она форменная шлюха, ей бы только валяться да баловаться. А потом я, мсье Мерсо, понятно, сказал ей: «Ты не видишь, как люди-то завидуют тебе, не ценишь своего счастья. Погоди, ты поймешь, как тебе хорошо жилось со мной».

Он ее избил до крови. А прежде так не бил.

— Я ее поколачивал, но, можно сказать, из нежных чувств. Она немножко повизжит, а я закрою

ставни, и все, бывало, кончалось, как всегда. Но на этот раз дело было серьезное. Да и то, думается, я еще мало ее наказал.

И тогда он мне объяснил, что именно по этому поводу и хочет попросить у меня совета. Он остановился и прикрутил фитиль коптившей лампы. Мне интересно было слушать. Я выпил около литра вина, у меня горело лицо и стучало в висках. Все свои сигареты я выкурил и уже курил сигареты Раймона. По улице пробегали последние трамваи и уносили с собой уже затихавшие шумы предместья. Раймон продолжил свой рассказ. Его огорчало то, что он все не может забыть свою «мерзавку». Но он хотел ее наказать. Сперва он думал было повести ее в номер гостиницы и, позвав полицию нравов, поднять скандал, тогда уж ее запишут как проститутку. Потом отказался от этого плана и обратился к приятелям, которые были у него среди блатных. Они ничего не могли придумать.

— Ну стоит ли после этого якшаться с блатными? — заметил Раймон. Он им так и сказал, и тогда они предложили ему подпортить ей физию. Но ему совсем не этого хотелось. И он решил поразмыслить. Сначала, однако, он хотел попросить моего содействия. Но прежде чем обратиться

ко мне с такой просьбой, он хотел узнать, что я думаю об этой истории. Я ответил, что ничего не думаю, но это интересно. Он спросил, как я считаю, был ли тут обман; мне действительно казалось, что обман был. А как, по-моему, следует ли наказать эту женщину и что именно я сделал бы на его месте? Я ответил, что таких вещей никогда заранее нельзя знать, но мне понятно, что ему хочется ее проучить. Я еще немного выпил вина. Раймон закурил сигарету и открыл мне свой замысел. Ему хотелось написать ей письмо, «такое, чтобы в нем и шпильки были и нежность — пусть она пожалеет, зачем все кончилось». А потом, когда она придет к нему, он с нею ляжет и «как раз под самый конец плюнет ей в рожу» и выставит за дверь. Я нашел, что это действительно будет для нее наказанием. Но Раймон сказал, что он, пожалуй, не сможет сочинить такое письмо, и вот решил попросить меня написать. Я промолчал; тогда он спросил, не затруднит ли меня сделать это сейчас же, и я ответил, что нет, не затруднит.

Тогда он встал, выпив предварительно стакан вина. Отодвинул в сторону тарелки и остатки простывшей колбасы, которую мы не доели. Тщательно вытер тряпкой клеенку на столе. Взял из

ящика ночного столика листок бумаги в клетку, желтый конверт, красненькую деревянную ручку и квадратную чернильницу с лиловыми чернилами. Когда он сказал мне имя той женщины, я понял, что она арабка. Я написал письмо. Писал наудачу, но старался угодить Раймону, так как у меня не было причин обижать его. Написав, я прочел письмо вслух. Раймон слушал, покуривая сигарету, и кивал головой. Он попросил меня еще раз прочесть письмо. Остался вполне доволен.

— Я так и думал, что ты знаешь жизнь.

Сначала я не обратил внимания, что он уже говорит мне «ты». Заметил и поразился только, когда он сказал:

— Ну, теперь ты мне настоящий приятель.

Он повторил эти слова, и я сказал: «Да». Мне ведь безразлично было, что я стал его приятелем, а ему, по-видимому, очень этого хотелось. Он заклеил конверт, и мы допили вино. Потом мы некоторое время курили, но уже не разговаривали. На улице стояла тишина, слышно было, как прошуршали шины проехавшего автомобиля. Я сказал: «Уже поздно». Раймон согласился со мной и добавил: «Быстро время проходит» — в известном смысле замечание верное. Мне хотелось спать, но трудно было подняться и уйти.

Вероятно, у меня был усталый вид, так как Раймон сказал мне: «Не надо раскисать». Я сначала не понял. Тогда он добавил, что, как он слышал, у меня умерла мать, но ведь рано или поздно это должно было случиться. Я тоже так считал.

Я встал, Раймон очень крепко пожал мне руку и сказал, что настоящие мужчины всегда поймут друг друга. Выйдя от него, я затворил за собой дверь и постоял в темноте на площадке. В доме все было спокойно, из глубокого подвала тянуло на лестницу сыростью и чем-то затхлым. Я слышал только, как у меня пульсирует кровь в жилах и звенит в ушах. Я не двигался. Но в комнате старика Саламано глухо заскулила собака.

IV

Всю неделю я хорошо работал; приходил Раймон, сказал, что послал письмо. Два раза я был с Эмманюэлем в кино. Он не всегда понимает то, что показывают на экране. Приходится ему объяснять. Вчера, в субботу, пришла Мари, как мы с ней условились. Меня очень тянуло к ней. На ней было красивое платье, в красную и белую полоску, и кожаные сандалии. Платье обтягивало ее упругие груди, она загорела, и лицо у нее было очень свежее. Мы сели в автобус и поехали за несколько километров от Алжира — туда, где были скалы, а за ними песчаный пляж, окаймленный со стороны суши тростником. Шел уже пятый час дня, солнце пекло не так сильно, но вода была теплая, к берегу лениво подкатывали длинные низкие волны. Мари научила меня забавной игре: нужно было набрать с гребня волны полный рот пены, лечь на спину и фонтаном выбрасывать ее в небо. Пена пушистым кружевом рассеивалась в воздухе или падала на лицо теплым дождиком. Но она была горько-соленая, и через некоторое время у меня стало жечь во рту. Подплыла Мари, прижалась ко мне и, поцеловав

меня в губы, провела по ним языком. Мы долго качались на волнах.

Потом мы вышли и оделись; Мари смотрела на меня блестящими глазами. Я поцеловал ее. И с этой минуты мы больше не говорили. Я обнял ее, и мы пошли быстрым шагом к автобусу, торопясь поскорее добраться до моей комнаты и броситься на постель. Я оставил окно открытым, и было приятно чувствовать, как ночная прохлада пробегает по телу.

Утром Мари осталась у меня, и я сказал ей, что мы позавтракаем вместе. Я сбегал, купил мяса; когда возвращался домой, из комнаты Раймона доносился женский голос. Немного погодя Саламано стал бранить свою собаку, и мы слышали, как он шаркает подошвами, а собака стучит когтями по деревянным ступенькам лестницы; потом старик крикнул: «Сволочь! Падаль!», и они вышли на улицу. Я рассказал Мари про чудачества старика, и она смеялась. На ней была моя пижама с засученными рукавами. Когда Мари засмеялась, я опять ее захотел. Потом она спросила, люблю ли я ее. Я ответил, что слова значения не имеют, но, кажется, любви к ней у меня нет. Она загрустила. Но когда мы стали готовить завтрак, она по поводу какого-то пустяка засмеялась, да

так задорно, что я стал ее целовать. И в эту минуту в комнате Раймона началась шумная ссора.

Сначала слышался пронзительный женский голос, а потом Раймон закричал:

— Ты меня обманывала, ты меня обманывала! Я тебя научу, как меня обманывать!

Послышались глухие удары, и женщина завыла, да так страшно, что немедленно на площадку сбежались люди. Мы с Мари тоже вышли. Женщина все вопила, а Раймон бил ее. Мари сказала, что это ужасно, я ничего ей не ответил. Она попросила сходить за полицейским, но я сказал, что не люблю полиции. Однако жилец с третьего этажа, водопроводчик, привел полицейского. Тот постучался, и за дверью все стихло. Полицейский постучал сильнее, и тогда женщина заплакала, а Раймон отворил дверь. У него был слащавый вид, во рту сигарета. Женщина бросилась к двери и заявила полицейскому, что Раймон избил ее.

— Как твоя фамилия? — спросил у него полицейский. Раймон ответил.

— Вынь цигарку изо рта. Не знаешь, с кем говоришь? — сказал полицейский.

Раймон замялся, поглядел на меня и затянулся сигаретой. Полицейский со всего размаха влепил ему оплеуху. Сигарета отлетела на несколько

шагов. Раймон переменился в лице, но ничего не сказал, только спросил смиренным голосом, можно ли ему подобрать свой окурок. Полицейский сказал:

— Подобрать можно. — И добавил: — Но в следующий раз ты будешь помнить, что полицейский не шут гороховый.

А тем временем женщина все плакала и твердила:

— Он меня избил. Это кот.

— Господин полицейский, — спросил Раймон, — разве закон дозволяет называть мужчину котом?

Но полицейский велел ему заткнуть глотку. Тогда Раймон повернулся к женщине и сказал:

— Погоди, деточка, мы еще встретимся.

Полицейский велел ему замолчать, пусть женщина уйдет, а он пусть останется в своей комнате и ждет, когда его вызовут в участок. Он добавил, что Раймону должно быть совестно: вон как он напился, даже весь дрожит.

И тут Раймон объяснил ему:

— Я не пьяный, господин полицейский. Только я ведь перед вами стою, вот меня и берет дрожь. Поневоле задрожишь.

Он затворил дверь, и все разошлись. Мы с Мари

закончили свою стряпню. Но у Мари пропал аппетит, я почти все съел один. В час дня она ушла, а я еще немного поспал.

Часа в три ко мне постучались. Вошел Раймон. Мне не хотелось вставать. Раймон присел на край кровати. И сначала он ни слова не промолвил. Тогда я спросил, как все это случилось. Он рассказал, что все сделал так, как задумал, но она дала ему пощечину, и тогда он отлупил ее. Остальное я видел. Я сказал, что, по-моему, обманщица теперь наказана и он должен быть доволен. Он согласился со мной и заметил, что как бы полицейский ни важничал, а девка все равно свое получила. Он добавил, что хорошо знает полицейских и умеет с ними обращаться. И тут он спросил, ждал ли я, что он даст сдачи полицейскому. Я ответил, что ровно ничего не ждал и к тому же не люблю полиции. У Раймона сделался очень довольный вид. Он спросил, не хочу ли я прогуляться с ним. Я поднялся с постели и стал причесываться. Раймон попросил меня выступить свидетелем. Мне это было безразлично, но я не знал, что мне полагалось сказать. По мнению Раймона, достаточно было заявить, что эта женщина обманывала его. Я согласился выступить свидетелем в его пользу.

Мы пошли в кафе, и Раймон угостил меня ко-

ньяком. Потом он предложил сыграть партию на бильярде, и я едва не проиграл. Затем он стал звать меня и бордель, но я отказался, потому что не люблю таких заведений. Мы потихоньку вернулись домой, и Раймон сказал мне, как он рад, что проучил любовницу. Я находил, что он очень хорошо ко мне относится, и считал, что мы славно провели вечер.

У подъезда я еще издали увидел старика Саламано. Он казался очень взволнованным. Когда мы подошли, я заметил, что при нем нет собаки. Он озирался, поворачивался во все стороны, заглядывал в темный наш подъезд, бормотал что-то бессвязное и снова оглядывал улицу своими маленькими красными глазками. Раймон спросил у него, что случилось, он не сразу ответил, только глухо пробормотал: «Сволочь! Падаль!» — и продолжал суетиться. Я спросил, где его собака. Он сердито буркнул: «Убежала». И вдруг разразился потоком слов:

— Я, как всегда, повел ее на Маневренное поле. Там было много народу, около ярмарочных балаганов. Я остановился посмотреть на Короля побегов. А когда хотел пойти дальше, ее уж не было. Давно следовало купить ей ошейник потуже. Но ведь я никогда не думал, что эта дрянь

вздумает убежать.

Раймон сказал, что, может, собака заблудилась и скоро прибежит домой. Он привел примеры: иногда собаки пробегали десятки километров, чтобы найти своих хозяев. Но, несмотря на эти рассказы, старик волновался все больше.

— Да ведь ее заберут собачники! Вы понимаете? Если б ее кто-нибудь себе взял. Но это же невозможно, кто такую возьмет? Она всем противна, у нее болячки. Ее собачники заберут.

Тогда я сказал, что пусть он идет на живодерню и ему там отдадут собаку, только придется заплатить штраф. Он спросил, большой ли штраф. Я не знал. Тогда он разозлился:

— Платить за эту пакость? Ну уж нет, пусть она подыхает! — И принялся ее ругать. Раймон засмеялся и вошел в подъезд. Вслед за ним поднялся по лестнице и я. На площадке нашего этажа мы расстались. Вскоре я услышал шаги старика Саламано. Он постучался ко мне. Я отворил, он стоял у двери и все извинялся: «Извините за беспокойство. Извините, пожалуйста». Я пригласил его в комнату, но он не зашел. Стоял, глядя на носки своих башмаков, и руки у него дрожали, морщинистые, в цыпках. Не поднимая головы, он спросил:

— Они не отберут ее у меня, мсье Мерсо? Отдадут ее мне? Как же я без нее буду?

Я ответил, что на живодерне держат собак три дня, чтобы хозяева могли их затребовать, а уж после этого срока делают с ними, что хотят. Он молча поглядел на меня. Потом сказал: «Покойной ночи». Он заперся у себя, и я слышал, как он ходит по комнате. Потом заскрипела кровать. По тихим, коротким всхлипываниям, раздававшимся за перегородкой, я понял, что старик плачет. Не знаю почему, но я вспомнил о маме. Однако утром надо было рано вставать. Есть мне не хотелось, и я лег спать без ужина.

V

Раймон позвонил мне в контору. Сказал, что один его приятель, которому он рассказывал обо мне, приглашает меня к себе на воскресенье: у него есть хижинка под Алжиром. Я ответил, что с удовольствием бы поехал, но обещал своей девушке провести воскресенье с ней. Раймон сразу ответил, что приглашается также и девушка. Жена его приятеля будет рада, если соберется не только мужская компания.

Я уже хотел было повесить трубку, потому что патрон не любит, когда нам звонят знакомые, но Раймон попросил подождать и сказал, что он, конечно, мог бы передать мне приглашение вечером, но ему хотелось кое-что сообщить — за ним весь день ходили по пятам несколько арабов, и среди них был брат его бывшей любовницы.

— Если ты нынче вечером увидишь их около дома, предупреди меня.

Я сказал:

— Непременно.

Немного погодя патрон вызвал меня к себе, и я подумал, что получу нагоняй: поменьше говорите по телефону, побольше работайте. Оказалось,

совсем не то. Он заявил, что хочет поговорить со мной об одном деле. Пока еще нет ничего определенного, все в проекте. Он хотел только кое о чем спросить у меня. Он намеревается открыть в Париже контору, чтобы там, на месте, вести переговоры и заключать сделки с крупными компаниями. И он хотел узнать, не соглашусь ли я поехать туда. Это позволило бы мне жить в Париже, а часть года разъезжать.

— Вы молоды, и, по-моему, такая жизнь должна вам нравиться.

Я ответил:

— Да, но мне, в сущности, все равно.

Тогда он спросил, неужели мне не интересно переменить образ жизни. Я ответил, что жизнь все равно не переменишь. Как ни живи, все одинаково, и мне в Алжире совсем не плохо. Он нахмурился и сказал, что я всегда отвечаю уклончиво, что у меня нет честолюбия, а для деловых людей это вредная черта. Я вернулся к себе и сел за работу. Конечно, лучше было бы не раздражать его, но я не видел оснований менять свою жизнь. Поразмыслить хорошенько, так я вовсе не какой-нибудь несчастный. В студенческие годы у меня было много честолюбивых мечтаний. А когда пришлось бросить учение, я быстро понял,

что все это не имеет никакого смысла.

Вечером за мной зашла Мари. Она спросила, думаю ли я жениться на ней. Я ответил, что мне все равно, но если ей хочется, то можно и пожениться. Тогда она осведомилась, люблю ли я ее. Я ответил точно так же, как уже сказал ей один раз, что это никакого значения не имеет, но, вероятно, я не люблю ее.

— Тогда зачем же тебе жениться на мне? — спросила она.

Я повторил, что это значения не имеет и, если она хочет, мы можем пожениться. Кстати сказать, это она приставала, а я только отвечал. Она изрекла, что брак — дело серьезное. Я ответил: «Нет». Она умолкла на минутку и пристально посмотрела на меня. Потом опять заговорила. Она только хотела знать, согласился бы я жениться, если б это предлагала какая-нибудь другая женщина, с которой я был бы так же близок, как с ней. Я ответил: «Разумеется». Тогда Мари задала сама себе вопрос, любит ли она меня? Откуда же я мог это знать? Опять настало короткое молчание, а потом она пролепетала, что я очень странный человек, но, должно быть, за это она меня и любит, однако, может быть, именно поэтому я когда-нибудь стану ей противен. Я молчал, так

как ничего не мог бы добавить, и тогда она взяла меня под руку и заявила, что хочет выйти за меня замуж. Я ответил, что мы поженимся, как только она того пожелает. Я рассказал ей о предложении патрона, и Мари заметила, что с удовольствием посмотрела бы Париж. Я сообщил ей, что жил там некоторое время, и она спросила, какой он.

Я сказал:

— Грязный. Много голубей, много задних дворов. Все люди какие-то бледные.

Потом мы отправились в город и долго бродили по главным улицам. Попадалось много красивых женщин, и я спросил Мари, заметила ли она это. Она сказала, что да, заметила и что она понимает меня. После этого мы замолчали. Но все же мне хотелось, чтобы она осталась со мной, и я предложил пообедать вместе у Селеста. Она ответила, что была бы рада, но у нее дела. Мы как раз были около моего дома, и я сказал: «До свидания». Она посмотрела на меня:

— И тебе не интересно знать, какие у меня дела?

Конечно, интересно, но я как-то не подумал об этом, и она, по-видимому, рассердилась на меня. Но, увидев мое замешательство, она опять рассмеялась и, потянувшись ко мне всем телом,

подставила мне для поцелуя свои губы.

Я пообедал у Селеста. Я уже приступил к еде, когда вошла маленькая странная женщина и спросила, можно ли ей сесть за мой столик. Я, конечно, сказал: «Пожалуйста». У нее было круглое, румяное как яблоко лицо, резкие жесты. Она сняла с себя жакет и с лихорадочной поспешностью исследовала меню. Позвала Селеста и быстро, но четко заказала ему все выбранные ею блюда сразу. В ожидании закусок открыла свою сумочку, достала квадратный листок бумаги и карандаш, подсчитала, сколько с нее следует, вытащила кошелечек, отсчитала деньги вместе с чаевыми и положила их перед собой на стол. Как раз ей подали закуски, и она живо уничтожила их. В ожидании следующего блюда достала из сумочки синий карандаш и журнал с программами радиопередач на неделю. Она аккуратно отметила птичками почти все передачи. В журнале было страниц двенадцать, и она продолжала свою кропотливую работу в течение всего обеда. Я уже кончил, а она все еще ставила птички. Потом встала, надела жакет все теми же угловатыми движениями автомата и ушла. Так как мне делать было нечего, я последовал ее примеру и некоторое время шел за нею. Она двигалась у края

тротуара невероятно быстрой, уверенной походкой, не оглядываясь и не сворачивая с прямой линии, видно, хорошо знала дорогу. Довольно скоро я потерял ее из виду и пошел обратно. Я подумал: «Какая странная женщина!», но тотчас забыл о ней.

У своей двери я обнаружил старика Саламано. Я пригласил его в комнату, и он мне сообщил, что собака потерялась окончательно, на живодерне ее нет. Там ему сказали, что, может быть, она попала под колеса и ее раздавило. Он спросил, нельзя ли навести справки в полицейских участках. Ему ответили, что такие мелкие происшествия там не отмечают, они случаются каждый день. Я посоветовал старику завести себе другую собаку, но он разумно ответил, что привык к той, которая пропала.

Я пристроился на кровати, поджав под себя ноги, а Саламано — на стуле, около стола. Он сидел напротив меня, положив руки на колени, забыв снять с головы свою потрепанную шляпу. Шамкая беззубым ртом, он выбрасывал из-под своих пожелтевших усов обрывки фраз. Он мне уже немного надоел, но от нечего делать я стал расспрашивать его про собаку. К тому же спать мне не хотелось. Оказывается, что он взял ее по-

сле смерти жены. Женился он довольно поздно. В молодости хотел пойти на сцену, недаром же в полку играл в водевилях для солдат. Но в конце концов поступил на железную дорогу и не жалеет об этом, так как теперь получает маленькую пенсию. С женой он счастлив не был, но, в общем, привык к ней. Когда она умерла, почувствовал себя очень одиноким. Тогда он попросил у сослуживца щенка. Щенок был совсем еще маленький. Надо было кормить его из соски. Но ведь у собаки-то жизнь короче, чем у человека, вот они вместе и состарились.

— Скверный был у нее характер, — сказал Саламано. — Мы иной раз цапались. А все-таки хорошая собака.

Я сказал, что она, несомненно, была породистая, и Саламано явно обрадовался.

— Это вы еще не видели ее до болезни, — добавил он. — Какая у нее шерсть была красивая! Просто прелесть.

А когда собака заболела кожной болезнью, Саламано по утрам и вечерам мазал ее мазью. Но по его мнению, не в болезни тут дело, а в старости — от старости же лекарства нет.

Тут я зевнул, и старик заявил, что он сейчас уйдет. Я ему сказал, чтобы он еще посидел и что

мне жаль его собаку; он поблагодарил меня. По его словам, моя мама очень любила этого пса. Говоря про маму, он называл ее «ваша матушка». Он высказал предположение, что я очень горюю после ее смерти; я ничего на это не ответил. Тогда он смущенно и торопливо проговорил, что ему известно, как соседи по кварталу меня осуждали, зачем я поместил мать в богадельню, однако мы с ним давно знакомы, и он уверен, что я очень любил маму. Я ответил почему-то, что до сих пор не знал, что меня осуждают, но мне казалось вполне естественным устроить маму в богадельню, так как у меня не хватало средств, чтобы обеспечить уход за ней.

— К тому же, — добавил я, — ей уже давно не о чем было со мной говорить, и она скучала в одиночестве.

— Да, — заметил Саламано, — в богадельне, по крайней мере, друзья-товарищи находятся.

Потом он извинился и ушел. Ему хотелось спать. Жизнь у него теперь совсем переменилась, он не знает, как ему быть, что делать. Впервые за все время нашего знакомства старик словно украдкой протянул мне руку, и я ощутил, какая у него жесткая, корявая кожа. Он слегка улыбнулся и перед уходом сказал:

— Надеюсь, нынче ночью собаки не будут лаять. А то мне все кажется, что это моя…

VI

В воскресенье я с трудом проснулся. Мари пришлось звать меня, трясти за плечо. Мы не стали завтракать, так как хотели пораньше искупаться в море. Я чувствовал полную опустошенность, и голова у меня немного болела. Закурил сигарету, но она показалась мне горькой. Мари подшучивала надо мной, говорила, что у меня «похоронная физиономия». Она пришла в белом полотняном платье, с распущенными волосами. Я сказал ей, что она красивая, она засмеялась от удовольствия.

Перед тем как спуститься по лестнице, мы постучались к Раймону. Он ответил, что сейчас будет готов. Когда мы вышли, то, верно, из-за усталости да из-за того, что утром я не отворил ставни, яркий солнечный свет ослепил меня, и я зажмурился, как от удара. А Мари прыгала от радости и все восхищалась погодой. Я почувствовал себя лучше и заметил тогда, что голоден. Я пожаловался Мари, но она раскрыла свою клеенчатую сумку и показала мне: там лежали только наши купальники и полотенце. Оставалось одно: ждать. Мы услышали, как Раймон захлопнул

свою дверь. На нем были брюки василькового цвета и белая рубашка с короткими рукавами. Но голову он прикрыл шляпой канотье, и Мари это рассмешило; руки выше локтя нисколько у него не загорели, были совсем бледные и покрыты черными волосами. Мне стало как-то противно. Он спустился по лестнице, насвистывая, и явно был очень доволен собой. Мне он сказал: «Привет, старина», и назвал Мари «мадемуазель».

Накануне мы ходили в полицейский участок, и там я дал показание, что арабка обманывала Раймона. Он отделался предупреждением. Мое показание не проверяли. У подъезда мы немного поговорили об этом, потом решили поехать в автобусе. До пляжа не очень далеко. Однако автобусом гораздо скорее.

Раймон заявил, что его приятель будет доволен, если мы приедем пораньше. Мы уже хотели было двинуться, но Раймон подал мне знак, чтобы я посмотрел на другую сторону улицы. И я увидел там группу арабов. Они стояли у табачной лавочки, прислонившись к поручню витрины, и все смотрели на нас, но на свой особый лад: как будто перед ними не люди, а камни или пни. Раймон сказал, что второй слева — брат его любовницы. Он заметно встревожился, но добавил, что теперь

эта история кончена. Мари не поняла и спросила, о чем идет речь. Я объяснил, что там стоят арабы, у которых зуб против Раймона. Тогда она попросила, чтобы мы сейчас же отправились. Раймон выпятил грудь, но, засмеявшись, согласился, что надо поскорее смыться.

Мы направились к остановке автобуса — она была недалеко. Раймон сообщил мне, что арабы не идут за нами следом. Я обернулся. Они стояли все там же и все так же равнодушно смотрели на то самое место, с которого мы ушли. Мы сели в автобус. У Раймона стало, как видно, легче на душе, и он старался всякими шуточками позабавить Мари. Я чувствовал, что Мари нравится Раймону, но она почти не отвечала ему. Только посмотрит иногда на него и засмеется.

Мы доехали до самой окраины Алжира. Пляж недалеко от остановки автобуса. Но надо было пройти через маленькое плато — оно поднимается над морем, и оттуда идет пологий спуск к песчаному берегу. Плато было усеяно желтоватыми камнями и асфоделями — цветы их казались ярко-белыми на фоне уже густой синевы неба. Мари для забавы размахивала своей клеенчатой сумкой, сбивала белые лепестки, и они разлетались во все стороны. Мы шли меж

рядов маленьких дачек с зелеными или белыми решетчатыми заборчиками; одни дачки прятались со своими террасками в зелени тамарисков, другие стояли на голом месте среди камней. Еще не доходя до края плато, можно было видеть недвижное море, а подальше массивный мыс, дремавший в светлой воде. В тишине до нас донесся легкий стук мотора. И далеко-далеко мы увидели рыболовное суденышко, скользившее по сверкающей морской глади. Мари сорвала несколько ирисов-утесников. Со склона, спускавшегося к берегу, мы увидели, что в море уже купаются несколько человек.

Приятель Раймона жил в деревянной хижинке на краю пляжа. Домик прислонился к скалам, и сваи, подпиравшие его спереди, уже стояли в воде. Раймон представил нас. Его приятеля звали Массон. Он был плотный и широкоплечий, а жена — маленькая и кругленькая миловидная женщина, по выговору, несомненно, парижанка. Он тотчас сказал, чтобы мы не стеснялись и чувствовали себя свободно, что сейчас нас угостят рыбой, которую он нынче утром поймал. Я выразил свое восхищение его домиком. Массон сообщил мне, что приезжает сюда на субботу и воскресенье, проводит здесь и весь свой отпуск.

«С женой, разумеется», — добавил он. А жена его о чем-то говорила с Мари и смеялась. Впервые, пожалуй, я подумал, что мне надо жениться.

Массон позвал всех купаться, но его жена и Раймон не захотели. Мы спустились к морю втроем, и Мари тотчас бросилась в воду. Массон и я решили остыть немножко. Он говорил не спеша, и я заметил, что у него привычка сопровождать всякое свое утверждение словами: «Скажу больше», даже когда это ничего не прибавляло к смыслу фразы. О Мари он мне сказал: «Она сногсшибательна, скажу больше — очаровательна». Но вскоре я уже не обращал внимания на его привычку — таким блаженным ощущением наполняло меня солнце. Песок накалился под ногами. Мне хотелось поскорее в воду, однако я еще немного помешкал, а потом сказал Массону: «Поплывем». Я сразу нырнул. А он вошел в воду тихонько и бросился только тогда, когда потерял дно под ногами. Он плавал брассом, и довольно плохо, так что я опередил его и погнался за Мари. Вода оказалась прохладной, и это было приятно. Мы с Мари плыли рядом и чувствовали, как согласованны наши движения, как хорошо нам обоим.

Мы заплыли далеко и легли на спину; на лице,

обращенном к небу, быстро высохли под солнцем струйки воды, затекавшие в рот. Мы видели, что Массон выбрался на берег и растянулся там, греясь на солнце. Издали он казался огромной глыбой. Мари захотела, чтобы мы поплыли вместе. Я пристроился сзади, обхватил ее за талию, и она поплыла, выбрасывая руки, а я помогал ей, работая ногами. В то утро мы долго бороздили воду и слышали ее плеск, пока наконец я не почувствовал усталость. Тогда я оставил Мари и поплыл к берегу широкими взмахами, дыша глубоко и ровно. Растянувшись ничком около Массона, я уткнулся лицом в песок. Я сказал: «Хорошо!», и Массон согласился со мной. Немного погодя приплыла Мари. Я обернулся посмотреть, как она выходит на берег. Мокрый купальник прилип к ее телу, она вся блестела от соленой воды, волосы были откинуты назад. Она вытянулась на песке бок о бок со мной, и, согревшись от тепла ее тела и от солнечного тепла, я задремал.

Мари встряхнула меня за плечо и сообщила, что Массон пошел домой — пора завтракать. Я тотчас встал, так как очень хотел есть, но Мари сказала, что я с самого утра еще ни разу ее не поцеловал. Это было верно, да мне и самому хотелось ее поцеловать.

— Пойдем в воду, — сказала она.

Мы побежали и вытянулись на первых невысоких волнах. Сделали несколько взмахов, и она прильнула ко мне. Я почувствовал, как ее ноги сплелись вокруг моих ног, и меня охватило желание.

Когда мы возвратились на берег, Массон уже звал нас с лестницы своего домика. Я признался, как мне хочется есть, и он тотчас объявил жене, что я ему нравлюсь. Хлеб был превосходный, мягкий, рыба вкусная, я с жадностью проглотил свою порцию. Потом подали жареное мясо с картофелем. Все ели молча. Массон пил много вина и непрестанно подливал мне. За кофе я почувствовал, что голова у меня немного тяжелая, да еще я много курил. Массон, Раймон и я стали строить планы, как мы все вместе проведем август на этом берегу и будем в складчину вести хозяйство.

Мари вдруг спросила:

— А вы знаете, который час? Только еще половина двенадцатого.

Мы все удивились, но Массон сказал, что, конечно, мы позавтракали очень рано, однако это вполне естественно — завтракать надо в такой час, когда есть хочется. Не знаю почему, это рассуждение рассмешило Мари. Наверное, она

выпила лишнего. Массон спросил, не хочу ли я прогуляться с ним по берегу:

— После завтрака моя жена всегда ложится отдохнуть. А я нет, не люблю. Мне надо ходить. Я всегда ей говорю, что это лучше для здоровья. Но в конце концов, как хочет — ее дело.

Мари заявила, что останется и поможет мадам Массон вымыть посуду. Парижаночка сказала, что для этого нужно выставить мужчин за дверь. И мы втроем ушли.

Солнечные лучи падали на песок почти отвесно, а на море сверкали просто нестерпимо. На пляже уже никого не было. Из дачек, что стояли на краю плато, нависавшего над морем, доносилось звяканье тарелок, ножей и вилок. От раскаленных камней, усеявших землю, тянуло жаром. Сначала Раймон и Массон говорили о каких-то неизвестных мне делах и людях. Я понял, что они давнишние знакомые и одно время даже жили вместе. Мы дошли до самой воды и двинулись по кромке пляжа. Иной раз подкатывала низкая длинная волна и отливала обратно, смочив нам парусиновые полуботинки. Я ни о чем не думал, шел в сонной одури от знойного солнца, палившего мою непокрытую голову.

Вдруг Раймон что-то сказал Массону, что имен-

но, я не расслышал, но в самом конце пляжа, очень далеко от нас, я заметил двух арабов в синих спецовках; они шли нам навстречу. Я посмотрел на Раймона, и он пробормотал:

— Это они.

Мы продолжали идти. Массон удивился, как арабы могли выследить нас. Я подумал, что они, вероятно, видели, как мы садились в автобус, и доглядели, что у Мари пляжная сумка, но я ничего не сказал.

Арабы шли не спеша и все приближались к нам. Мы не сбавили шага, но Раймон сказал: «Может, начнется драка, тогда ты, Массон, возьми второго. Я беру на себя своего. А ты, Мерсо, врежь третьему, если появится». Я ответил: «Ладно». Массон засунул руки в карманы. Раскаленный песок казался мне теперь красным. Мы шли в ногу. Расстояние между нами и арабами все сокращалось; когда оставалось лишь несколько шагов, они остановились. Раймон двинулся прямо к своему арабу. Я не расслышал, что он сказал, но араб нагнулся, будто хотел боднуть его головой. Тогда Раймон ударил его и кликнул Массона. Массон всей своей тушей навалился на второго и два раза его ударил. Араб упал в воду, лицом в песчаное дно, вокруг его головы поднимались

и лопались пузыри. Тем временем Раймон тоже ударил своего противника, искровянил ему лицо. Потом повернулся ко мне и сказал: «Посмотри, как я его отделаю». Я крикнул: «Берегись, у него нож!» Однако араб уже вспорол Раймону руку и разрезал губу.

Массон прыгнул к своему. Но второй араб поднялся и встал позади того, у которого был нож. Мы не смели пошевелиться. Те двое медленно отступали, не сводя с нас взгляда и угрожая ножом. Когда отошли подальше, повернулись и убежали, а мы остались на солнцепеке. Раймон крепко стягивал предплечье платком, сквозь который капала кровь.

Массон сказал, что надо тотчас разыскать доктора — он всегда проводит воскресенье на плато. Раймон соглашался пойти. Но как только он начинал говорить, у него булькала во рту кровь, вытекавшая из раны. Поддерживая его, мы довольно быстро добрались до хижинки. Раймон сказал, что раны у него неглубокие и он может дойти. Он отправился с Массоном, а я остался, чтобы объяснить женщинам, что случилось. Мадам Массон плакала, а Мари слушала мой рассказ вся бледная. Мне надоело объяснять, я замолчал и стал курить, глядя на море.

Около половины второго Раймон вернулся в сопровождении Массона. Рука у него была перевязана, угол рта заклеен липким пластырем. Доктор сказал ему, что это пустяки, но у Раймона вид был угрюмый. Массон пытался его рассмешить. Но он все молчал, Потом сказал, что спустится к морю. Я спросил, куда он направляется, мы с Массоном пойдем вместе с ним. Он разозлился и выругал нас. Массон заявил, что не надо ему перечить. Но я все-таки пошел с Раймоном.

Мы долго шли по пляжу. Солнце палило нещадно. Свет его дробился на песке и на поверхности моря. У меня было такое впечатление, что Раймон знает, куда он идет, но, может быть, я ошибался. Мы пришли наконец к ручейку, протекавшему в песке за высокой скалой, в самом конце пляжа. И там мы увидели обоих наших арабов. Они лежали в своих засаленных спецовках. По виду оба были спокойны и почти что довольны. Наше появление их не испугало. Тот, который ударил Раймона ножом, молча смотрел на него. Второй наигрывал на дудочке из тростника и, глядя на нас, непрестанно повторял три ноты, которые мог извлечь из своей флейты.

Кругом было только солнце и тишина, журчание ручейка и эти три ноты. Раймон полез в

карман за револьвером, но его враг не пошевелился, и они молча смотрели друг на друга. Я заметил, что у того, кто играл на дудочке, пальцы на ногах широко расставлены. Раймон. не спуская глаз с противника, спросил меня: «Ухлопать его?» Я подумал, что, если я стану отговаривать, Раймон еще больше взвинтит себя и наверняка выстрелит. И я только сказал:

— Он же еще ни слова не произнес. Нехорошо в таком случае стрелять.

И опять были зной и тишина, журчала вода и флейта. Потом Раймон сказал:

— Ну, так я обложу его как следует и, когда он ответит, ухлопаю его.

Я ответил:

— Ну, да. Но если он не выхватит ножа, тебе нельзя стрелять.

Раймон уже начал свирепеть. Дудочка все не смолкала, но оба араба следили за каждым движением Раймона.

— Нет, — сказал я Раймону. — Схватитесь с ним врукопашную, а револьвер отдай мне. Если второй вмешается или первый вытащит нож, я выстрелю.

Раймон отдал мне револьвер, стальной ствол блеснул на солнце. Но мы еще не двигались, как

будто мир сомкнулся и сковал нас. Мы с арабами смотрели друг на друга в упор. Все замерло — и море, и песок, и солнце, и флейта, и ручей. В эту минуту я думал: придется или не придется стрелять? Но вдруг арабы стали пятиться, пятиться и юркнули за скалу. Тогда мы с Раймоном повернули обратно. Ему как будто стало лучше, и он все говорил, что пора ехать домой.

Я проводил его до хижинка Массона, и, пока он поднимался по деревянной лестнице, я стоял внизу под палящим солнцем; в голове у меня гудело от жары: мне невмоготу было подняться по лестнице и опять разговаривать с женщинами. Но солнце так пекло, что тяжело было стоять неподвижно под огненным ослепительным дождем, падавшим с неба. Ждать тут или пройтись, не все ли равно? И вскоре я вернулся на пляж и пошел по его кромке. Кругом было все то же алое сверкание. На песок набегали мелкие волны, как будто слышалось быстрое приглушенное дыхание моря. Я медленно шел к скалам и чувствовал, что лоб у меня вздувается от солнца. Зной давил мне на голову, на плечи и мешал двигаться вперед. Каждый раз, как мое лицо обдавало жаром, я стискивал зубы, сжимал кулаки в карманах брюк, весь вытягивался вперед, чтобы одолеть

солнце и пьяную одурь, которую оно насылало на меня. Как саблей, резали мне глаза солнечные блики, отражаясь от песка, от выбеленной морем раковины или от осколка стекла, и у меня от боли сжимались челюсти. Я шел долго.

Вдалеке я видел темную глыбу скалы, окруженную радужными отсветами солнца и водяной пыли. Я подумал о холодном ручье, протекавшем за скалой. Мне захотелось вновь услышать его журчание, убежать от солнца, от всяких усилии, от женских слез и отдохнуть наконец в тени. Но когда я подошел ближе, то увидел, что враг Раймона вернулся.

Он был один. Он лежал на спине, подложив руки под затылок — голова в тени, падавшей от утеса, все тело — на солнце. Его замасленная спецовка дымилась на такой жаре. Я немного удивился: мне казалось, что вся эта история кончена, и пришел я сюда, совсем не думая о ней.

Как только араб увидел меня, он приподнялся и сунул руку в карман. Я, разумеется, нащупал в своей куртке револьвер Раймона. Тогда араб снова откинулся назад, но не вынул руки из кармана. Я был довольно далеко от него — метрах в десяти. Веки у него были опущены, но иногда я замечал его взгляд. Однако чаще его лицо, вся

его фигура расплывались перед моими глазами в раскаленном воздухе. Шуршание волн было еще ленивее, тише, чем в полдень. Все так же палило солнце, и все так же сверкал песок. Вот уже два часа солнце не двигалось, два часа оно стояло на якоре в океане кипящего металла. На горизонте прошел маленький пароход, я увидел это черное пятнышко только краем глаза, потому что не переставал следить за арабом.

Я думал, что, стоит мне только повернуться, уйти, все будет кончено. Но ведь позади был огненный пляж, дрожащий от зноя воздух. Я сделал несколько шагов к ручью. Араб не пошевелился. Все-таки он был еще далеко от меня. Быть может, оттого что на лицо его падала тень, казалось, что он смеется. Я подождал. Солнце жгло мне щеки, я чувствовал, что в бровях у меня скапливаются капельки пота. Жара была такая же, как в день похорон мамы, и так же, как тогда, у меня болела голова, особенно лоб, вены на нем вздулись, и в них пульсировала кровь. Я больше не мог выносить нестерпимый зной и шагнул вперед. Я знал, что это глупо, что я не спрячусь от солнца, сделав один шаг. Но я сделал шаг, только один шаг. И тогда араб, не поднимаясь, вытащил нож и показал его мне. Солнце сверкнуло на стали, и меня как

будто ударили в лоб длинным острым клинком. В то же мгновение капли пота, скопившиеся в бровях, вдруг потекли на веки, и глаза мне закрыла теплая плотная пелена, слепящая завеса из слез и соли. Я чувствовал только, как бьют у меня во лбу цимбалы солнца, а где-то впереди нож бросает сверкающий луч. Он сжигал мне ресницы, впивался в зрачки, и глазам было так больно. Все вокруг закачалось. Над морем пронеслось тяжелое жгучее дыхание. Как будто разверзлось небо и полил огненный дождь. Я весь напрягся, выхватил револьвер, ощутил выпуклость полированной рукоятки. Гашетка подалась, и вдруг раздался сухой и оглушительный звук выстрела. Я стряхнул капли пота и сверкание солнца. Сразу разрушилось равновесие дня, необычайная тишина песчаного берега, где только что мне было так хорошо. Тогда я выстрелил еще четыре раза в неподвижное тело, в которое пули вонзались незаметно. Я как будто постучался в дверь несчастья четырьмя короткими ударами.

Часть II

I

Тотчас же после ареста меня несколько раз допрашивали. Но речь шла только об установлении личности. На первом допросе (в полиции) мое дело, казалось, никого не интересовало. Через неделю следователь, наоборот, смотрел на меня с любопытством. Но для начала он задавал только обычные вопросы — фамилия, имя, местожительство, профессия, дата и место рождения. Потом осведомился — пригласил ли я адвоката. Я ответил, что нет, не приглашал, и спросил, разве необходимо брать себе адвоката?

— Почему вы спрашиваете? — удивился он.

Я ответил, что считаю свое дело очень простым. Он улыбнулся и заметил:

— Это ваше мнение. Но существует закон. Если вы не пригласите адвоката, мы сами назначим.

Я нашел очень удобным, что суд заботится о таких мелочах. И сказал об этом следователю. Он согласился со мной и заметил в заключение, что закон о судопроизводстве составлен превосходно.

Вначале я как-то не относился к следователю серьезно. Он говорил со мной в комнате, где все

было занавешено — и окна и двери: горела только одна лампа на письменном столе, освещавшая кресло, в которое он меня усадил; сам же он оставался в тени. О таких приемах я уже читал в книгах, и все это казалось мне игрой. А после нашей беседы я внимательно посмотрел на следователя и увидел, что у него тонкие черты лица, глубоко сидящие голубые глаза, высокий рост, длинные седеющие усы и шапка седых, почти белых волос. Он показался мне очень неглупым и, в общем, симпатичным человеком, хотя и страдал нервным тиком — у него подергивался уголок рта. Уходя, я чуть было не протянул ему руку, но вовремя вспомнил, что я убийца.

На следующий день ко мне в тюрьму пришел адвокат. Маленький и кругленький, довольно молодой, с тщательно прилизанными волосами. Несмотря на жару (я был в рубашке с закатанными рукавами), на нем был темный костюм, крахмальный воротничок и какой-то диковинный галстук с широкими черными и белыми полосами. Он положил на мою койку портфель, который носил под мышкой, представился и сказал, что изучил материалы по моему делу. Очень сложное дело, но он не сомневается в успехе, если я буду с ним вполне откровенен. Я поблагодарил,

и он сказал:

— Ну что ж, давайте приступим.

Он сел на койку и сообщил, что собирал сведения о моей личной жизни. Выяснилось, что моя мать недавно умерла, находясь в богадельне. Тогда навели справки в Маренго. Следствие установило, что я «проявил бесчувственность» в день маминых похорон.

— Вы, конечно, понимаете, — сказал адвокат, — мне неудобно спрашивать вас об этом. Но это очень важное обстоятельство. Оно будет веским аргументом для обвинения, если я ничего не смогу ответить.

Адвокат хотел, чтобы я помог ему. Он спросил, было ли у меня тяжело на душе в тот день. Вопрос очень меня удивил, мне, например, было бы очень неловко спрашивать кого-нибудь о таких вещах. Однако я ответил, что уже немного отвык копаться в своей душе и мне трудно ответить на его вопрос. Я, конечно, очень любил маму, но это ничего не значит. Все здоровые люди желали смерти тем, кого они любили. Тут адвокат прервал меня и, по-видимому, очень взволновался. Он взял с меня обещание, что я этого не скажу ни на заседании суда, ни у судебного следователя. Все же я объяснил ему, что я от природы

так устроен, что физические мои потребности зачастую не соответствуют моим чувствам. В тот день, когда хоронили маму, я был очень утомлен и ужасно хотел спать. Поэтому я даже не давал себе отчета в том, что происходит. Однако могу сказать наверняка, что я предпочел бы, чтобы мама не умерла.

Адвоката явно не удовлетворили мои слова, он произнес: «Этого недостаточно». И задумался. Потом спросил, могу ли я сказать, что в тот день я подавлял в душе свои естественные сыновние чувства. Я ответил:

— Нет, не могу, это было бы ложью.

Он как-то странно, пожалуй, с отвращением посмотрел на меня и зло заметил, что, во всяком случае, директор и служащие богадельни будут вызваны на суд в качестве свидетелей и их показания могут очень плохо для меня обернуться. Я возразил, что все это не имеет отношения к моему делу, а он в ответ сказал только, что, очевидно, я никогда не бывал под судом.

Он ушел с очень недовольным видом. Мне хотелось удержать его, объяснить, что я рад был бы внушить ему симпатию к себе — не для того, чтобы он лучше защищал меня на суде, но, если можно так сказать, из естественного человече-

ского чувства. Главное же, я видел, что он из-за меня расстроился. Он не мог меня понять и поэтому сердился. А у меня было желание убедить его, что я такой же, как все, совершенно такой же, как все. Но в сущности, это было бесполезно. И я от этого отказался — из лености.

В скором времени меня опять повели на допрос. Шел третий час дня. Кабинет следователя заливало солнце, тюлевые занавески чуть-чуть смягчали слишком яркий свет. Следователь предложил мне сесть и очень вежливо сказал, что «по непредвиденным обстоятельствам» мои адвокат не мог сегодня прийти. Но я имею право не отвечать следователю в отсутствие адвоката, дождаться, когда он сможет присутствовать при допросе. Я сказал, что готов отвечать и без адвоката. Следователь надавил пальцем кнопку на письменном столе. Явился молодой секретарь суда и расположился со своей машинкой почти за моей спиной.

Мы со следователем уселись поудобнее. Начался допрос. Прежде всего следователь сказал, что ему обрисовали меня как человека молчаливого и замкнутого и он хотел бы узнать, верно ли это. Я ответил:

— У меня никогда не бывает ничего интересно-

го. Вот я и молчу.

Он улыбнулся, как при первой нашей встрече, признал такую причину основательной и сказал:

— Впрочем, это не имеет никакого значения.

Потом пристально посмотрел на меня и, довольно резко выпрямившись, быстро произнес:

— Меня интересуете вы сами.

Мне непонятно было, какой смысл он вкладывал в свои слова, и я ничего не ответил.

— Есть кое-что в вашем поступке, чего я не могу понять. Я уверен, что вы мне поможете разобраться.

Я сказал, что все было очень просто. И он предложил мне подробно описать, как прошел тот день. Я повторил все, что уже рассказывал ему: Раймон, пляж, купание, ссора, опять пляж, ручеек, солнце и пять выстрелов из револьвера. После каждой фразы он приговаривал: «Так! Так!» Когда я дошел до распростертого на земле тела, он тоже сказал: «Так! Так!» Мне надоело повторять одно и то же. Право, я, кажется, никогда столько не говорил.

Помолчав, он поднялся и сказал, что хотел бы помочь мне, что я заинтересовал его, и с помощью божией он что-нибудь сделает для меня. Но

предварительно он хотел бы задать мне несколько вопросов. И сразу же, без всяких переходов, спросил, любил ли я маму. Я ответил:

— Да, как все.

Секретарь, до тех пор равномерно стучавший по клавишам машинки, вдруг как будто ошибся, спутался, нажав не ту букву, и ему пришлось отвести каретку обратно. А следователь снова, без всякой видимой логики, спросил, как я стрелял. Пять раз подряд? Я подумал и уточнил: сперва выстрелил один раз, а через несколько секунд еще четыре раза.

— Почему же вы сделали паузу между первым и следующим выстрелами? — спросил он.

Я снова увидел перед собой багровый песок, почувствовал, как солнце обжигает мне лоб. Но на вопрос я ничего не ответил. И мое молчание как будто взволновало следователя. Он сел, взъерошил свою шевелюру и, навалившись локтями на стол, наклонился ко мне с каким-то странным видом:

— Почему? Почему вы стреляли в распростертое на земле, неподвижное тело?

На это я опять не мог ответить. Следователь провел рукой по лбу и дрогнувшим голосом повторил:

— Почему? Вы должны мне сказать. Почему?

Я молчал.

Вдруг он встал, широкими шагами прошел в дальний угол кабинета и выдвинул ящик шкафа для дел. Достал оттуда серебряное распятие и, высоко подняв его, вернулся на свое место. Совсем изменившимся, звенящим голосом он воскликнул:

— Знаете ли вы, кто это?

Я ответил:

— Разумеется.

И тогда он очень быстро, взволнованно сказал, что он верит в бога и убежден, что нет такого преступника, которого господь не простил бы, но для этого преступник должен раскаяться и уподобиться ребенку, душа коего чиста и готова все воспринять. Он потрясал распятием почти над самой моей головой. По правде сказать, я плохо следил за его рассуждениями: во-первых, было жарко, кроме того, в кабинете летали большие мухи и все садились мне на лицо, да еще этот человек внушал мне страх. Однако я сознавал, как нелеп этот страх — ведь преступник-то был не он, а я. Он продолжал говорить. Мало-помалу я понял, что, по его мнению, есть только одно темное место в моей исповеди — то, что я сделал

паузу после первого выстрела. Все остальное было для него ясно, но вот этого он не мог понять.

Я хотел было сказать, что он напрасно напирает на это обстоятельство: оно не имеет такого уж большого значения. Но он прервал меня и, выпрямившись во весь рост, воззвал к моей совести, спросив при этом, верю ли я в бога. Я ответил, что нет, не верю. Он рухнул в кресло от негодования. Он сказал мне, что это невозможно: все люди верят в бога, даже те, кто отвратил от него лицо свое. Он был твердо убежден в этом, и, если б когда-либо в этом усомнился, жизнь его потеряла бы смысл.

— Неужели вы хотите, — воскликнул он, — чтобы жизнь моя не имела смысла?

По-моему, это меня не касалось, я так ему и сказал. Но он уже протягивал ко мне через стол распятие, указывал на Христа и кричал что-то безумное:

— Я христианин! Я молю его простить тебе грехи твои! Как можешь ты не верить, что он умер на кресте ради тебя?

Я прекрасно заметил, что он говорит мне «ты», но я уже устал от него. Жара становилась все удушливее. Обычно, когда мне хочется избавиться от кого-нибудь, кто надоел мне своими

разговорами, я делаю вид, будто соглашаюсь с ним.

К моему удивлению, следователь возликовал.

— Ну вот! Ну вот! — воскликнул он. — Ведь ты же веришь, веришь и отныне возложишь на господа все надежды.

Разумеется, я сказал, что нет. Он опять рухнул в кресло. По-видимому, он очень устал. Он долго сидел в молчании, а тем временем секретарь, быстро стучавший на машинке, допечатывал последние фразы нашего диалога. Затем следователь внимательно, с некоторой грустью поглядел на меня и пробормотал:

— Никогда не встречал такой очерствелой души, как у вас!

Преступники, приходившие сюда, всегда плакали, видя этот образ скорби.

Я хотел ответить: плакали они именно потому, что были преступниками. Но тут мне пришла мысль, что ведь и я преступник. Однако с этим я не мог свыкнуться. Следователь поднялся с места, словно желал показать, что допрос окончен. Он только спросил меня с усталым видом, сожалею ли я о своем поступке. Я подумал и ответил, что испытываю не столько сожаление, сколько досаду. Следователь как будто и тут не понял меня. Но

в тот день мы на этом кончили.

В дальнейшем меня часто водили к следователю. Но там присутствовал адвокат. Допрос сводился к тому, что меня заставляли уточнять некоторые мои предыдущие показания. Или же следователь обсуждал с адвокатом пункты обвинения. Но по правде сказать, оба они и не думали при этом обо мне. Мало-помалу изменился самый характер допросов. Казалось, я уже не интересовал следователя и мое дело он считал для себя ясным. Он больше не говорил со мной о боге, и я уже никогда не видел его в экстатическом возбуждении. В результате наши беседы стали более сердечными. Несколько вопросов, короткий разговор с моим адвокатом — и допрос заканчивался. Мое дело шло «своим чередом», по выражению следователя. Иногда его беседа с адвокатом касалась общих тем, в нее вовлекали и меня. Я начинал дышать свободнее. Никто в эти часы не выказывал мне враждебности. Все было так естественно, так хорошо налажено, игра велась так сдержанно, что у меня возникло нелепое впечатление, будто я стал тут «своим человеком». Следствие шло одиннадцать месяцев, и могу сказать, что, к удивлению моему, за все это время единственной для меня радостью были те редкие

минуты, когда следователь, проводив меня до дверей своего кабинета, дружески похлопывал но плечу и говорил с таким сердечным видом:

— На сегодня довольно, господин антихрист.

И тогда меня передавали жандармам.

II

О некоторых вещах я никогда не любил говорить. Когда меня заключили в тюрьму, я уже через несколько дней понял, что мне неприятно будет рассказывать об этой полосе своей жизни.

Позднее я уже не находил важных причин для этого отвращения. Первые дни я, в сущности, не был по-настоящему в тюрьме: я смутно ждал какого-нибудь нового события. Все началось лишь после первого и единственного свидания с Мари. С того дня, как я получил от нее письмо (она сообщала, что ей больше не дают свиданий, так как мы не женаты), с того дня я почувствовал, что тюремная камера стала моим домом, и понял, что жизнь моя тут и остановилась. В день ареста меня заперли в общую камеру, где сидело много заключенных, в большинстве арабы. Они засмеялись, увидев меня. Потом спросили, за что я попал в тюрьму. Я сказал, что убил араба, и они притихли. Но вскоре наступил вечер. Они показали мне, как надо разостлать циновку, на которой полагалось спать. Свернув валиком один конец, можно было подложить его под голову вместо подушки. Всю ночь, у меня по лицу ползали клопы. Через

несколько дней меня перевели в одиночку, и там я спал на деревянном топчане. Мне поставили парашу и дали оцинкованный таз для умывания. Тюрьма находилась в верхней части города, и в маленькое окошечко камеры я мог видеть море. И однажды, когда я подтянулся на руках, ухватившись за прутья решетки, и подставлял лицо солнечному свету, вошел надзиратель и сказал, что меня вызывают на свидание. Я подумал, что пришла Мари. И действительно, это была она.

Меня повели по длинному коридору, потом по лестнице и еще по одному коридору. Я вошел в очень светлую большую комнату с широким окном. Она была перегорожена двумя высокими решетками. Оставленное между этими решетками пространство (метров в восемь или десять в длину) отделяло посетителей от заключенных. Напротив себя я увидел загорелое личико Мари; на ней было знакомое мне полосатое платье. С арестантской стороны стояло человек десять, почти все арабы. Мари оказалась в окружении арабок; справа стояла возле нее маленькая старушка с плотно сжатыми губами, вся в черном, а слева — простоволосая толстуха, которая орала во все горло и усердно жестикулировала. Из-за большого расстояния между решетками и посети-

телям и арестантам приходилось говорить очень громко. Когда я вошел, гул голосов, отдававшихся от высоких голых стен, резкий свет, падавший с неба, дробившийся в оконных стеклах и бросавший отблески по всей комнате, вызвали у меня что-то вроде головокружения. В моей камере было гораздо тише и темнее, но через несколько секунд я уже привык, и тогда каждое лицо четко выступило передо мною. Я заметил, что в конце прохода, оставленного между решетками, сидит тюремный надзиратель. Большинство арестантов-арабов, так же как их родственники, пришедшие на свидание, сидели на корточках. Они не кричали. Наоборот, говорили вполголоса и все же, несмотря на шум, слышали друг друга. Глухой рокот их разговоров, раздававшийся низко, у самого пола, звучал, как непрерывная басовая нота в общем хоре голосов, перекликавшихся над их головами. Все это я заметил очень быстро, пока шел к тому месту, где была Мари. Она плотно прижалась к решетке и улыбалась мне изо всех сил. Я нашел, что она очень красива, но не сумел сказать ей это.

— Ну как? — сказала она очень громко. — Ну как?

— Как видишь!

— Ты здоров? У тебя есть все, что тебе нужно?

— Да, все.

Мы замолчали. Мари по-прежнему улыбалась. Толстуха кричала во весь голос моему соседу, вероятно, своему мужу, высокому белокурому парню с открытым взглядом. Они продолжали разговор, начатый до меня.

— Жанна не захотела его взять! — орала она.

— Так, так, — отзывался парень.

— Я ей сказала, что ты опять возьмешь его к себе, когда выйдешь, но она не захотела его взять.

Мари тоже перешла на крик, сообщая, что Раймон передает мне привет, а я ответил: «Спасибо». Но сосед заглушил мой голос.

— Хорошо ли он себя чувствует?

Его жена засмеялась и ответила:

— Превосходно, в полном здравии!

Мой сосед слева, невысокий молодой парень с изящными руками, ничего не говорил. Я заметил, что он стоит напротив маленькой старушки и оба они пристально смотрят друг на друга. Но мне некогда было наблюдать за ними, потому что Мари крикнула, чтобы я не терял надежды. Я ответил: «Да». В это время я смотрел на нее и мне хотелось сжать ее обнаженные плечи. Мне хотелось почувствовать ее атласную кожу, и я

не очень хорошо знал, могу ли я надеяться на что-нибудь, кроме этого. Но Мари, несомненно, хотела сказать, что могу, так как все время улыбалась. Я видел лишь ее блестящие белые зубы и складочки в уголках глаз. Она крикнула:

— Ты выйдешь отсюда, и мы поженимся!

Я ответил:

— Ты думаешь? — Но лишь для того, чтобы сказать что-нибудь.

Тогда она заговорила очень быстро и по-прежнему очень громко, что меня, конечно, оправдают и мы еще будем вместе купаться в море. А другая женщина, рядом с нею, вопила, что оставила корзинку с передачей в канцелярии, и перечисляла все, что принесла. Надо проверить, ведь передача дорого стоила. Другой мой сосед и его мать все смотрели друг на друга. А снизу все так же поднимался рокот арабской речи. Солнечный свет как будто вздувался парусом за стеклами широкого окна.

Мне стало нехорошо, и я рад был бы уйти. От шума разболелась голова. И все же не хотелось расставаться с Мари. Не знаю, сколько времени прошло. Мари что-то говорила о своей работе и непрестанно улыбалась. В воздухе сталкивались бормотание, крики, разговоры. Был только один

островок тишины — как раз рядом со мной: невысокий юноша и старушка, молча смотревшие друг на друга. Постепенно, одного за другим, увели арабов. Как только ушел первый, все утихли. Маленькая старушка приникла к решетке, и в эту минуту надзиратель подал знак ее сыну. Тот сказал: «До свидания, мама», а она, просунув руку между железных прутьев, долго и медленно махала ею.

Она ушла, а на ее место встал мужчина с шапкой в руке. К нему вывели арестанта, и у них начался оживленный разговор, но вполголоса, потому что в комнате стало тихо. Пришли за моим соседом справа, и его жена крикнула все так же громко, словно не заметила, что уже не нужно кричать:

— Береги себя и будь осторожнее!

Потом пришла моя очередь. Мари показала руками, что обнимает меня. В дверях я обернулся. Она стояла неподвижно, прижавшись лицом к решетке, и все та же судорожная улыбка растягивала ее губы.

Немного погодя она написала мне. С этого дня и началось то, о чем мне не хотелось бы никогда вспоминать. Конечно, не надо преувеличивать: я пережил это легче, чем многие другие. В нача-

ле заключения самым тяжелым было то, что в мыслях я все еще был на воле. Мне, например, хотелось быть на пляже и спускаться к морю. Я представлял себе, как плещутся волны у моих ног и как я вхожу в воду и какое чувство освобождения испытываю, и вдруг я чувствовал, как тесно мне в стенах тюремной камеры. Так шло несколько месяцев. Но потом у меня были лишь мысли, обычные для арестанта. Я ждал ежедневной прогулки во дворе, ждал, когда придет адвокат. Я очень хорошо ко всему приспособился. Мне часто приходила тогда мысль, что, если бы меня заставили жить в дупле засохшего дерева и было бы у меня только одно занятие: смотреть на цвет неба над моей головой, я мало-помалу привык бы и к этому. Поджидал бы полет птиц или встречу облаков так же, как тут, в тюрьме, я ждал забавных галстуков моего адвоката и так же, как в прежнем мире, терпеливо ждал субботы, чтобы сжимать в объятиях Мари. А ведь, если поразмыслить хорошенько, меня не заточили в дупло засохшего дерева. Были люди и несчастнее меня. Кстати сказать, эту мысль часто высказывала мама и говорила, что в конце концов можно привыкнуть ко всему.

Впрочем, обычно я не заходил так далеко в

своих рассуждениях. Трудно было в первые месяцы. Но именно усилие, которое пришлось мне делать над собою, и помогло их пережить. Меня, например, томило влечение к женщине. Это естественно в молодости. Я никогда не думал именно о Мари. Но я столько думал о женщине, о женщинах, о всех женщинах, которыми я обладал, о том, как и когда сближался с ними, что камера была полна женских лиц и я не знал куда деваться. В известном смысле это лишало меня душевного равновесия. Но и помогало убивать время. Я почему-то завоевал симпатии тюремного надзирателя, сопровождавшего раздатчика, который приносил для арестантов пищу из кухни. Он-то и заговорил со мной о женщинах. Сказал, что заключенные больше всего жалуются на это. Я заметил, что я испытываю то же самое и считаю такое лишение несправедливым.

— Но для того вас и сажают в тюрьму.

— То есть как это?

— Ведь свобода — это женщины. А вас лишают свободы.

Мне никогда не приходила такая мысль. Я согласился с ним.

— Да, правда, — сказал я. — Иначе какое же это было бы наказание?

— Вот-вот. Вы, я вижу, человек понятливый. Не то, что другие. Но в конце концов, они сами облегчают себя.

И после этих слов надзиратель ушел.

Мучился я еще из-за сигарет. Когда я поступил в тюрьму, у меня отобрали пояс, шнурки от ботинок, галстук и все, что было в карманах, в том числе и сигареты. Когда меня привели в камеру, я попросил, чтобы мне отдали сигареты. Мне ответили, что это запрещено. В первые дни было очень трудно. Пожалуй, без курева было тяжелее всего. Я сосал щепки, которые отрывал от топчана. Целые дни ходил по камере, и меня тошнило. Я не понимал, почему нам не дозволяется курить, ведь от этого никому зла не будет. Позднее я понял, что это тоже делается в наказание. Но к тому времени я уже отвык от курения, и это не было для меня карой.

Да, пришлось перенести некоторые неприятности, но я не был очень уж несчастным. Важнее всего, скажу еще раз, было убить время. Но с тех пор, как я научился вспоминать, я уже не скучал. Иногда я вспоминал свою спальню: воображал, как выхожу из одного угла и, пройдя по комнате, возвращаюсь обратно; я перебирал в уме все, что встретил на своем пути. Вначале я быстро справ-

лялся с этим. Но с каждым разом путешествие занимало все больше времени. Я вспоминал не только шкаф, стол или полочку, но все вещи, находившиеся там, и каждую вещь рисовал себе во всех подробностях: цвет и материал, узор инкрустации, трещинку, выщербленный край. Всячески старался не потерять нить своей инвентаризации, не забыть ни одного предмета. Через несколько недель я уже мог часами описывать все, что было в моей спальне. Чем больше я думал над этим, тем больше позабытых или находившихся в пренебрежении вещей всплывало в моей памяти. И тогда я понял, что человек, проживший на свете хотя бы один день, мог бы без труда провести в тюрьме сто лет. У него хватило бы воспоминаний для того, чтобы не скучать. В известном смысле это было благодетельно.

На помощь приходил также сон. Вначале я плохо спал по ночам, а днем совсем не ложился. Но постепенно я стал лучше спать ночью и мог спать днем. Признаться, в последние месяцы я спал по шестнадцати, по восемнадцати часов в сутки. Значит, оставалось еще как-то убивать время в течение шести часов, но этому помогали арестантские трапезы, удовлетворение естественных потребностей и история одного чеха.

Под тюфяком, положенным на топчан, я нашел прилепившийся к нему обрывок старой газеты, пожелтевший и прозрачный клочок. Там напечатан был случай из уголовной хроники; начала заметки не было, но, по-видимому, дело происходило в Чехословакии. Некий чех уехал из своей деревни, надеясь нажить себе состояние. Он действительно стал богатым и через двадцать пять лет вернулся на родину с женой и ребенком. Его мать и сестра содержали в родной деревне гостиницу. Желая сделать им приятный сюрприз, он, оставив жену и ребенка в другой гостинице, явился к матери. Она не узнала сына. Шутки ради он вздумал снять номер. Он показал свои деньги. Ночью мать и сестра убили его молотком и, ограбив, бросили тело в реку. Утром пришла жена и, ничего не зная, открыла, кто у них остановился. Мать повесилась, сестра бросилась в колодец. Эту историю я перечитывал тысячи раз. С одной стороны, она была невероятна. С другой — естественна. Во всяком случае, я считал, что этот чех в какой-то степени получил по заслугам: зачем было ломать комедию?

Долгие часы сна, воспоминания, чтения газетной заметки, чередование света и мрака — так время и шло. Я слышал, что в конце концов в

тюрьме теряется понятие о времени. Но я не очень-то понимал, что это значит. Я ведь не представлял себе, какими длинными и вместе с тем короткими могут быть дни. Тянется-тянется день, и не заметишь, как он сливается с другим днем. И названия их теряются. «Вчера» и «завтра» — только эти слова имели для меня смысл.

Однажды сторож сказал мне, что я сижу в тюрьме уже пять месяцев, я поверил, но осознать этого не мог. Для меня тянется все один и тот же день, хлынувший в мою камеру и заставлявший меня делать одно и то же. Когда сторож ушел, я посмотрел на себя в донышко своего жестяного котелка. Мне показалось, что мое отражение оставалось серьезным, даже когда я пытался улыбнуться ему. Я покачал котелок перед собой. Улыбнулся, лицо мое сохраняло суровое и грустное выражение. День был на исходе, наступал час, о котором мне не хочется говорить, — час безымянный, когда из всех этажей тюрьмы поднимался вечерний шум и вслед за ним — тишина. Я подошел ближе к высоко прорезанному окошечку и при последних отблесках света еще раз посмотрел на свое отражение. Оно по-прежнему казалось серьезным, оно, несомненно, таким и было в эту минуту. Как раз тут я впервые за несколько месяцев ясно

услышал свой голос. Я узнал в нем тот самый голос, который уже много дней звучал в моих ушах, и понял, что все это время я вслух разговаривал сам с собой. Мне вспомнилось вдруг то, что сказала медицинская сестра на похоронах мамы. Нет, выхода не было, и никто не может себе представить, что такое сумерки в тюрьме.

III

В сущности, первое лето очень быстро сменилось вторым. Я знал, что с наступлением знойных дней произойдет что-то новое. Мое дело назначено было к слушанию в последней сессии суда присяжных, а она заканчивалась в последних числах июня. Судебное разбирательство открылось в самый разгар лета, когда в небе сверкало солнце. Адвокат заверил меня, что процесс займет два-три дня, не больше.

— Ведь суд будет торопиться, — добавил он, — так как ваше дело не самое важное на этой сессии. Сразу же после него будет разбираться отцеубийство.

За мной пришли в половине восьмого утра и в тюремной машине доставили в здание суда. Два жандарма ввели меня в маленькую томную комнату, где пахло затхлостью. Мы ждали, сидя около двери, за которой слышались голоса, оклики, стук передвигаемых стульев, шумная возня, напоминавшая мне празднества в нашем предместье, когда после концерта зал приготовляют для танцев. Жандармы сказали, что надо ждать, когда соберутся судьи, и один жандарм предложил мне

сигарету, от которой я отказался. Немного погодя он спросил меня:

— Ну как, страшно?

Я ответил, что нет. Даже в некотором роде интересно; ведь я никогда не бывал на судебных процессах — не случалось.

— Да, — заметил второй жандарм, — но в конце концов это надоедает.

Вскоре в комнате задребезжал звонок. Тогда с меня сняли наручники. Отперли дверь и ввели меня в загородку для подсудимых. Зал был набит битком. Несмотря на опущенные шторы, солнце кое-где пробивалось, и от жары уже стало трудно дышать. Окна не отворяли. Я сел, по бокам у меня встали жандармы, мои конвоиры. И в эту минуту я заметил перед собою ряд незнакомых лиц. Все они смотрели на меня: я понял, что это присяжные. Но не могу сказать, чем они отличались друг от друга. У меня было такое впечатление, будто передо мною сидят на скамье пассажиры трамвая и все эти безвестные люди с недоброжелательным любопытством приглядываются к вошедшему, чтобы подметить в нем какие-нибудь странности. Хорошо знаю, что это была дурацкая мысль: тут обсуждали не какие-нибудь странности, а преступления. Впрочем, разница не

так уж велика. Однако мысль эта действительно мне явилась.

У меня еще и голова немного кружилась в этом душном запертом зале, где набилось столько народу. Я посмотрел на публику и не мог различить ни одного лица. Кажется, я сначала не понял, что все эти люди пришли поглядеть на меня. Обычно моя особа никого не интересовала. С некоторым трудом мне удалось понять, что вся эта суматоха из-за меня. Я сказал жандарму: «Сколько народу-то!» Он ответил, что всему причиной газетчики, и указал на группу людей, стеснившихся у стола ниже трибуны присяжных. Он сказал: «Вон они». Я спросил: «Кто?», и он повторил: «Газетчики». Оказалось, он знаком с одним из журналистов, и тот, увидев его, направился к нам. Это был человек уже в летах, приятной внешность, хотя лицо его подергивалось от нервного тика. Он горячо пожал руку жандарму. И тогда я заметил, что все в зале отыскивали и окликали знакомых, вели разговоры, словно в клубе, где приятно бывает встретиться с людьми своего круга. Отчасти этим и объяснялось возникшее у меня странное впечатление, будто я тут лишний, как непрошеный гость. Однако журналист, улыбаясь, заговорил со мной. Он выразил надежду, что все пройдет хоро-

шо для меня. Я поблагодарил его, и он добавил:

— Мы, знаете ли, немного раздули ваше дело. Лето — мертвый сезон для судебной хроники. Только вот ваша история да отцеубийство представляют некоторый интерес.

Затем он мне указал в той группе, из которой пришел, низенького человечка, похожего на разжиревшего хорька и очень заметного по огромным очкам в черной оправе. Он мне сказал, что это специальный корреспондент большой парижской газеты.

— Правда, он приехал не ради вас. Ему поручено написать о процессе отцеубийцы, но заодно его попросили сообщить по телеграфу и о вашем деле.

Я опять чуть было его не поблагодарил. Но подумал, что это было бы смешно. Он приветливо помахал мне рукой, и мы расстались. Потом ждали еще несколько минут.

Появился мой адвокат, уже в мантии, окруженный своими собратьями. Он направился к журналистам, обменялся с ними рукопожатием. Они перекидывались шутками, смеялись, вели себя очень непринужденно до тех пор, пока в зале не зазвенел звонок. Все сели на свои места. Мой адвокат подошел ко мне, пожал мне руку

и дал совет отвечать очень коротко на вопросы, которые мне будут задавать, ничего не говорить по своему почину и во всем положиться на него.

Слева от меня раздался шум отодвигаемого стула, и я увидел там высокого, худого человека в красной мантии и в старомодном пенсне, в эту минуту он садился, аккуратно оправляя свое судейское одеяние. Это был прокурор. Судебный пристав возвестил: «Суд идет!» И в эту минуту зарычали два больших вентилятора. Вошли трое судей — двое в черном, третий в красном, — с папками под мышкой, и быстрым шагом направились к трибуне, возвышавшейся над залом. Все трое сели в кресла, человек в красной мантии — посередине; он снял свою четырехугольную шапочку, положил ее на стол перед собой, вытер носовым платком маленькую лысую голову и объявил судебное заседание открытым.

Журналисты уже держали автоматические ручки наготове. У всех у них вид был равнодушный и несколько насмешливый. Однако один из них, много моложе других, в сером костюме и синем галстуке, не взял в руки перо и все смотрел на меня. Я заметил, что у него немного асимметричное лицо, но меня поразили его глаза, очень светлые глаза, пристально смотревшие на меня

с каким-то неизъяснимым выражением. У меня возникло странное чувство, будто это я сам смотрю на себя. Может быть, из-за этого, а также из-за моего незнания судебных порядков и правил я не очень хорошо понял то, что было вначале: жеребьевка присяжных, вопросы председателя суда к адвокату, к прокурору и к присяжным (каждый раз все присяжные одновременно поворачивали головы к председателю суда), быстро зачитанное обвинительное заключение, в котором указывались знакомые мне названия местностей, имена и фамилии, новые вопросы моему адвокату.

Но вот председатель сказал, что суд сейчас приступит к опросу свидетелей. Судебный пристав зачитал список фамилий, и они привлекли мое внимание. В рядах публики, до сих пор оставшейся для меня безликой, один за другим поднялись со скамей, а затем вышли в маленькую боковую дверцу директор и сторож богадельни, старик Томас Перес, Раймон, Массон, Саламано и Мари. Она тревожно посмотрела на меня и сделала мне знак. Я удивился, что не заметил их всех раньше; вдруг встал вызванный последним по списку Седеет. Рядом с ним я увидел ту маленькую женщину в жакете, которую встретил однажды в ресторане, у нее были все такие же быстрые,

четкие движения и решительный вид. Она пристально смотрела на меня. Но мне некогда было размышлять: заговорил председатель суда. Он сказал, что скоро начнется важнейшая часть процесса — прения сторон и он считает излишним напоминать, что публика должна соблюдать при этом полное спокойствие. По его словам, он для того здесь и находился, чтобы обеспечить беспристрастное разбирательство дела, ибо желает рассмотреть его с полной объективностью. Присяжные заседатели вынесут справедливый приговор, руководясь духом правосудия, и да будет всем известно, что при малейшем инциденте он прикажет очистить зал.

Жара все усиливалась, и я видел, что присутствующие обмахиваются газетами. Слышался шорох смятой бумаги. Председатель суда подал знак, и служитель принес три плетенных из соломки веера, которыми тотчас воспользовались все три члена суда.

Первым начали допрашивать меня. Председатель задавал вопросы спокойно и, как мне показалось, с оттенком сердечности. Он еще раз «установил мою личность», и, хоть меня раздражала эта процедура, я подумал, что, в сущности, она довольно естественна: ведь какая была бы

страшная ошибка, если б стали судить одного человека вместо другого. Затем председатель начал пересказывать, что я совершил, и при этом поминутно спрашивал: «Так это было?» Каждый раз я по указаниям своего адвоката отвечал: «Да, господин председатель». Допрос шел долго, так как председатель рассказывал все очень подробно. Тем временем журналисты писали. Я чувствовал на себе взгляд самого молодого из них и той маленькой женщины-автомата. Все лица на трамвайной скамейке повернулись к председателю. Он откашлялся, полистал бумаги в своей папке и, обмахиваясь веером, обратился ко мне.

Он сказал, что должен теперь затронуть вопросы, как будто и не имеющие отношения к моему делу, но, быть может, касающиеся его очень близко. Я понял, что он опять будет говорить о маме, и почувствовал, как мне это надоело. Он спросил, почему я поместил маму в богадельню. Я ответил, что у меня не было средств на то, чтобы обеспечить ей уход и лечение. Он спросил, тяжело ли мне было расстаться с ней, и я ответил, что ни мама, ни я уже ничего больше не ждали друг от друга — да, впрочем, и ни от кого другого — и что мы оба привыкли к новым условиям жизни. Председатель сказал тогда, что он не хочет оста-

навливаться на этом, и спросил у прокурора, не желает ли тот задать мне какой-нибудь вопрос.

Прокурор, не глядя на меня и чуть ли не повернувшись ко мне спиной, заявил, что с разрешения господина председателя суда он хотел бы узнать, было ли у меня намерение убить араба, когда я один вернулся к ручью.

— Нет, — сказал я.

— Тогда почему же вы пришли с оружием и почему вернулись именно в это место?

Я ответил, что это было случайно. И прокурор сказал зловещим тоном:

— Пока у меня больше нет вопросов.

Все потом было непонятно, во всяком случае для меня. Судьи о чем-то поговорили между собой, и председатель объявил, что назначается перерыв, после которого заседание возобновится и будут выслушаны свидетели.

Мне опять некогда было поразмыслить. Меня увели, посадили в тюремный фургон, отвезли в тюрьму, и там я поел. Очень скоро, так скоро, что я ничего еще не почувствовал, кроме усталости, за мной пришли, все началось снова, и я оказался в том же зале, перед теми же лицами. Только жара стала еще удушливее. И каким-то чудом уже у каждого присяжного, у прокурора, у

моего адвоката и у некоторых журналистов появились соломенные веера. Молодой журналист и маленькая женщина сидели на своих местах. Но они не обмахивались веерами и все так же безмолвно смотрели на меня.

Я вытер пот со лба, но немного пришел в себя и понял, где нахожусь, лишь в ту минуту, когда услышал, что произнесли фамилию директора богадельни. Его спросили, жаловалась ли на меня мама, и он ответил, что да, жаловалась, но все его подопечные страдают этой манией, они всегда жалуются на своих близких. Председатель попросил его уточнить, упрекала ли меня мать за то, что я поместил ее в богадельню, и директор опять сказал, что да, упрекала. На следующий вопрос он ответил, что его удивило мое спокойствие в день похорон. Его спросили, что он понимает под словом «спокойствие». Директор тогда уставился на кончики своих ботинок и сказал, что я не захотел посмотреть на свою усопшую мать, ни разу не заплакал и уехал сейчас же после похорон, не проведя ни одной минуты в сосредоточенной печали у ее могилы. Его удивило еще одно обстоятельство; служащий похоронного бюро сказал ему, что я не знаю точно, сколько лет было моей маме. После этого последовало краткое молчание,

а затем председатель спросил, действительно ли директор говорил обо мне. Тот не понял вопроса, и председатель разъяснил: «Таков закон». После этого председатель спросил у прокурора, не хочет ли он задать какой-нибудь вопрос свидетелю, но прокурор ответил: «О, нет! Достаточно и того, что мы слышали!» Он воскликнул это с таким пафосом и бросил на меня такой торжествующий взгляд, что впервые за много лет у меня возникло нелепое желание заплакать, потому что я почувствовал, как меня ненавидят все эти люди.

Спросив присяжных и моего адвоката, нет ли у них вопросов к директору богадельни, председатель суда выслушал показания сторожа. Повторился тот же церемониал, как и для всех других. Подойдя к месту свидетелей, сторож посмотрел на меня и отвел взгляд. Он ответил на вопросы, которые ему задавали. Сказал, что я не хотел посмотреть на маму, что я курил, что я уснул у гроба, что я пил кофе с молоком. Я почувствовал, как это возмутило всех присутствующих, и в первый раз понял тогда, что я виноват. Сторожа заставили повторить его рассказ о кофе с молоком и о сигарете. Прокурор посмотрел на меня, и глаза его блестели насмешкой. И тут мой адвокат спросил сторожа, не курил ли он вместе

со мной. Прокурор с яростью восстал против этого вопроса: «Кто тут преступник? И разве допустимы попытки очернить свидетелей обвинения для того, чтобы обесценить их показания, которые все же останутся сокрушительными?» Несмотря на его выпад, председатель попросил сторожа ответить на вопрос адвоката. Старик сказал смущенно:

— Я знаю, что поступил неправильно, но я не решился отказаться от сигареты, которую господин Мерсо предложил мне.

В заключение спросили меня, не желаю ли я что-нибудь добавить.

— Ничего, — ответил я. — Свидетель сказал правду. Я действительно предложил ему сигарету.

Сторож посмотрел на меня, во взгляде его было некоторое удивление и даже благодарность. Замявшись немного, он сказал, что сам предложил мне выпить кофе с молоком. Мой адвокат шумно возликовал и заявил, что присяжные заседатели, конечно, учтут это обстоятельство. Но прокурор загремел над нашими головами:

— Да, господа присяжные учтут это обстоятельство. И они сделают вывод, что посторонний человек мог предложить кофе, но сын должен

был отказаться, а не распивать кофе у гроба матери, давшей ему жизнь.

Сторож вернулся на свое место.

Когда пришла очередь Томаса Переса, одному из судебных приставов пришлось поддерживать его под руку, чтобы он мог предстать перед судьями. Перес сказал, что он больше знаком был с моей матерью, а меня видел только один раз — в день похорон. Его спросили, что я делал в тот день, и он ответил:

— Вы же понимаете, мне и самому было очень тяжело. Так что я ничего не видел. Мне тяжело было, и я ничего не замечал. Я даже лишился чувств. Так что я не мог видеть господина Мерсо. Прокурор спросил, видел ли он по крайней мере, что я плакал. Перес ответил, что нет, не видел. Прокурор сказал в свою очередь:

— Господа присяжные учтут это обстоятельство.

Но мой адвокат рассердился. Он спросил у Переса, и, как мне показалось, чересчур повышенным тоном:

— А вы видели, что он не плакал?

Перес ответил:

— Нет.

В публике засмеялись. А мой адвокат, откинув

широкие рукава своей мантии, сказал:

— Вот характер этого процесса. Все — правда, и ни в чем нет правды!

Прокурор, нахмурившись, тыкал острием карандаша в надписи на ярлыках судебных папок.

После пятиминутного перерыва, во время которого мой адвокат сказал, что все идет превосходно, заслушали показания Селеста, вызванного в качестве свидетеля защиты, то есть для моей защиты. Селест время от времени бросал на меня взгляды и теребил в руках панаму. На нем был новый костюм, тот самый, в котором он иногда, по воскресеньям, ходил со мной на бега. Но должно быть, воротничок он не смог пристегнуть — ворот рубашки был схвачен медной запонкой, отчетливо видневшейся у шеи. Его спросили, был ли я его клиентом, и он сказал:

— Не только клиентом, но и другом.

Спросили, что он думает обо мне, и он ответил, что я был человеком. А что он понимает под этим? Он ответил, что всем известно значение этого слова. Замечал ли он, что у меня замкнутый характер, но Селест признал только то, что я не любил болтать всякие пустяки. Прокурор спросил у него, аккуратно ли я платил за стол. Селест засмеялся и заявил:

— О таких мелочах и говорить не стоит.

Еще его спросили, что он думает о моем преступлении. Он положил тогда руки на барьер, и видно было, что он заранее приготовился к ответу. Он сказал:

— По-моему, это несчастье. А что такое несчастье — известно. Перед ним все беззащитны. Так вот, по-моему, это несчастье!

Он хотел продолжить свою речь, но председатель суда сказал: «Хорошо, достаточно» и поблагодарил его. Селест все стоял, как видно, он растерялся. Но, спохватившись, заявил, что хочет еще кое-что сказать. Его попросили говорить короче. И он еще раз повторил, что это было несчастье. А председатель сказал:

— Да, разумеется. Но мы здесь как раз и находимся для того, чтобы судить такого рода несчастья. Благодарим вас.

Однако Селест, исчерпав в своих показаниях все, что ему подсказывали его жизненный опыт и его добрая воля, не уходил. Он повернулся ко мне, и мне показалось, что его глаза блестят от слез, а губы дрожат. Он как будто спрашивал меня, чем еще он может мне помочь. Я ничего не сказал, не сделал никакого жеста, но впервые в жизни мне хотелось обнять мужчину. Председатель

повторил, что свидетель может быть свободен. Селест отошел и сел в зале. Он оставался там до конца заседания: наклонившись вперед и упираясь локтями в колени, он держал в руках свою панаму и внимательно слушал все, что говорилось. Вошла Мари. Она надела на этот раз шляпу и по-прежнему была красива. Правда, с распущенными волосами она мне больше нравилась. С того места, где я находился, мне хорошо были видны очертания ее маленьких грудей, нижняя пухлая губка. Мари, по-видимому, очень волновалась. Ее сразу же спросили, давно ли она знакома со мной. Она указала то время, когда работала в нашей конторе. Председатель пожелал узнать, каковы ее отношения со мной. Мари сказала, что она моя подруга; на следующий вопрос ответила, что действительно должна была выйти за меня замуж. Прокурор, листавший материалы дела, подшитые в папку, вдруг спросил, когда началась наша связь. Мари указала дату. Прокурор заметил с равнодушным видом, что, по его подсчетам, это произошло на другой день после смерти моей матери. Потом с некоторой иронией сказал, что ему не хотелось бы вдаваться в подробности столь щекотливого обстоятельства и ему понятна стыдливость Мари, но (голос его стал жестким) долг

требует от него подняться выше условностей. А поэтому он просит свидетельницу вкратце сообщить, как мы с ней провели тот день. Мари не хотела говорить, но прокурор настаивал, и она рассказала, как мы купались, как ходили в кино и как после сеанса пришли ко мне домой. Прокурор сказал, что на основании показаний Мари на предварительном следствии он навел справки о программах кинотеатров в вышеуказанный день. Он добавил, что Мари, вероятно, сама сообщит сейчас, какая картина шла тогда. Почти беззвучным голосом она и в самом деле сказала, что мы с ней смотрели фильм с участием Фернанделя. Когда она кончила, в зале стояла мертвая тишина. Поднялся прокурор, суровый, важный, и голосом, показавшимся мне по-настоящему взволнованным, отчеканил, указывая на меня пальцем:

— Господа присяжные заседатели, на следующий день после смерти своей матери этот человек купался в обществе женщины, вступил с нею в связь и хохотал на комическом фильме. Больше мне нечего вам сказать.

Он сел. В зале по-прежнему стояла тишина. И вдруг Мари разрыдалась и закричала, что все это не так, все по-другому, что ее принудили гово-

рить совсем не то, что она думала, что она хорошо меня знает и что я ничего дурного не сделал. Но по знаку председателя судебный пристав вывел ее, и заседание пошло дальше. Вслед за Мари давал показания Массон, которого едва слушали. Он заявил, что я порядочный человек и «скажу больше, честный человек». Едва слушали и старика Саламано, когда он вспоминал, что я жалел его собаку, а на вопрос обо мне и о моей матери ответил, что мне больше не о чем было говорить с нею и поэтому я поместил маму в убежище для престарелых.

— Надо понять, — говорил Саламано, — понять надо.

Но по-видимому, никто не понимал. Его увели.

Затем наступила очередь Раймона, последнего в списке свидетелей. Раймон слегка кивнул мне и сразу же сказал, что я невиновен. Но председатель суда заявил, что от него требуют не оценки моих действий, а изложения фактов. Свидетель должен ждать вопросов и отвечать на них. Ему предложили уточнить, каковы были его отношения с убитым арабом. Воспользовавшись случаем, Раймон заявил, что покойный его возненавидел с тех пор, как Раймон дал пощечину его сестре. Однако председатель спросил у него, не было ли у жерт-

вы преступления причины ненавидеть и меня. Раймон ответил, что я оказался на пляже случайно. Тогда прокурор спросил, как случилось, что письмо, послужившее началом трагедии, было написано мною. Раймон ответил, что это чистейшая случайность. Прокурор возразил, что во всей этой истории слишком уж много взваливают на случайность. Он пожелал узнать, случайно ли я не вступился за любовницу Раймона, когда тот избивал ее, случайно ли я выступил свидетелем в полицейском участке и случайно ли мои показания были даны в пользу Раймона или я это сделал из любезности. Под конец председатель спросил, на какие средства Раймон существует, и, когда тот ответил: «Я кладовщик», прокурор объявил присяжным заседателям, что, как всем известно, этот свидетель — профессиональный сутенер. А подсудимый Мерсо — его сообщник и приятель. Суд разбирает сейчас гнусную драму самого низкого пошиба, осложненную тем фактом, что виновник ее — чудовище в моральном отношении. Раймон хотел было защитить себя, а мой адвокат выразил протест, но им обоим сказали, что надо дать прокурору закончить выступление. Прокурор сказал:

— Мне осталось добавить очень немного.

Подсудимый был вашим другом? — спросил он Раймона.

— Да, — ответил Раймон, — он был моим приятелем.

Тогда прокурор задал и мне тот же вопрос. Я поглядел на Раймона, и он не отвел глаз. Я ответил:

— Да.

Прокурор повернулся к заседателям и провозгласил:

— Тот самый человек, который на другой день после смерти матери предавался самому постыдному распутству, совершил убийство по ничтожному поводу, желая свести со своей жертвой счеты из-за грязного, мерзкого дела.

Потом он сел. Но мой адвокат, потеряв терпение, всплеснул руками так, что рукава мантии откинулись, открыв накрахмаленную сорочку, и воскликнул:

— Да что же это наконец! В чем обвиняют подсудимого?

В том, что он похоронил мать, или в том, что он убил человека?

В публике засмеялись. Но прокурор опять встал и, задрапировавшись в свою мантию, заявил, что надо обладать наивностью почтенного защитника, чтобы не почувствовать, какая глубокая,

страшная и нерасторжимая связь существует между двумя этими, казалось бы, различными фактами.

— Да, — патетически воскликнул он, — я обвиняю этого человека в том, что он хоронил свою мать, будучи преступником в сердце своем!

Такая тирада, по-видимому, произвела большое впечатление на публику. Мой адвокат пожал плечами и вытер платком мокрый от пота лоб. Все же он, видимо, растерялся, и я почувствовал, что дело поворачивается плохо для меня.

Заседание кончилось. Выйдя из здания суда и направляясь к машине, я вдруг ощутил в эти короткие мгновения знакомые запахи и краски летнего вечера. В темноте быстро катившегося тюремного фургона до меня, словно из пучины усталости, один за другим доносились привычные шумы города, которые я так любил, потому что в эти часы и мне случалось радоваться жизни. Крики мальчишек-газетчиков, оглашающие уже прохладный воздух, щебет засыпающих птиц в сквере, оклики лоточников, продающих бутерброды, жалобный визг трамваев на крутых поворотах и смутный гул, раздающийся где-то вверху, в небе, перед тем, как мрак ночной низринется оттуда на гавань, — все эти звуки

указывали мне, как слепому, привычный путь, ведь я так хорошо знал его, прежде чем попал в тюрьму. Да, то был сумеречный час, в который когда-то давно у меня бывало спокойно на душе. Впереди меня всегда ждал сон — легкий сон без сновидений. А теперь все изменилось; ведь ночью я, не смыкая глаз, буду ждать утра и возвращаюсь я сейчас в одиночную камеру. Итак, знакомые пути, пролегающие и летних небесах, могли с одинаковым успехом вести и к тюремным кошмарам и к невинным снам.

IV

Даже сидя на скамье подсудимых, всегда бывает интересно услышать, что говорят о тебе. Могу сказать, что и в обвинительной речи прокурора и в защитительной речи адвоката обо мне говорилось много, но, пожалуй, больше обо мне самом, чем о моем преступлении. И так ли уж были отличны друг от друга речи обвинителя и защитника? Адвокат воздевал руки к небу и, признавая меня виновным, напирал на смягчающие обстоятельства. Прокурор простирал руки к публике и громил мою виновность, не признавая смягчающих обстоятельств. Кое-что меня смутно тревожило. И несмотря на то, что я мог повредить себе, меня порою так и подмывало вмешаться, тогда адвокат говорил мне: «Молчите, это будет для вас лучше!» Вот и получилось, что мое дело разбиралось без меня. Все шло без моего участия. Мою судьбу решали, не спрашивая моего мнения. Время от времени мне очень хотелось прервать этих говорунов и спросить: «А где тут подсудимый? Он ведь не последняя фигура и должен сказать свое слово!» Но, поразмыслив, я находил, что сказать мне нечего. Да и надо признаться, ин-

терес, который вызывают судебные выступления, не долго длится. Например, обвинительная речь прокурора очень скоро мне надоела. Поразили меня и запомнились только отдельные фразы, жесты или патетические тирады, совершенно, однако, оторванные от общей картины.

Суть его обвинения, если я правильно понял, была в том, что я совершил предумышленное убийство. По крайней мере он пытался это доказать. Он так и говорил:

— Я докажу это, господа, двояким способом. Сначала при ослепительном свете фактов, а затем при том мрачном свете, который даст мне психология преступной души обвиняемого.

Он перечислил вкратце эти факты, начиная со смерти мамы. Напомнил о моей бесчувственности, о том, что я не знал, сколько лет было маме, и о том, что я купался на другой день в обществе женщины, ходил в кино смотреть Фернанделя и, наконец, вернулся домой, приведя с собой Мари. Я не сразу понял, что речь идет о ней, потому что он сказал «свою любовницу», а для меня она была Мари. Затем он перешел к истории с Раймоном. Я нашел, что его рассуждения не лишены логики. То, что он утверждал, было правдоподобно. По сговору с Раймоном я написал письмо, чтобы

завлечь его любовницу в ловушку, где ее ждали побои «со стороны человека сомнительной нравственности». Я затеял на пляже ссору с противниками Раймона. Раймону были нанесены ранения. Я попросил у него револьвер. Вернулся на пляж один, чтобы воспользоваться этим оружием. Я замыслил убить араба и сделал это. И «чтобы быть уверенным, что дело сделано хорошо», я после первого выстрела всадил в простертое тело еще четыре пули — спокойно, уверенно и, так сказать, «во зрелом размышлении».

— Вот, господа, — сказал прокурор, — я восстановил перед вами ход событий, которые привели этого человека к убийству, совершенному им вполне сознательно. Я на этом настаиваю, — сказал он. — Ведь здесь речь идет не о каком-нибудь обыкновенном убийстве, о преступлении в состоянии аффекта, в котором мы могли бы найти смягчающее обстоятельство. Нет, подсудимый умен, господа, это несомненно. Вы слышали его, не правда ли? Он умеет ответить. Ему понятно значение слов. И про него нельзя сказать, что он действовал необдуманно.

Итак, я услышал, что меня считают умным. Но я не очень хорошо понимал, почему столь обыкновенное человеческое качество может

стать неопровержимым доказательством моей преступности. Право, это так меня поразило, что я уже не слушал прокурора до того момента, когда он произнес:

— Но выразил ли он сожаление? Нет, господа. В течение многих месяцев следствия ни разу этого человека не взволновала мысль, что он совершил ужасное злодеяние.

Тут он повернулся ко мне и, указывая на меня пальцем, принялся укорять меня с каким-то непонятным неистовством. Разумеется, я не мог не признать, что кое в чем он прав: ведь я и в самом деле не очень сожалел о своем поступке. Но такое озлобление прокурора меня удивляло. Мне хотелось попытаться объяснить ему искренне, почти что дружески, что я никогда ни в чем не раскаивался по-настоящему. Меня всегда поглощало лишь то, что должно было случиться сегодня или завтра. Но разумеется, в том положении, в которое меня поставили, я ни с кем не мог говорить таким тоном. Я не имел права проявлять сердечность и благожелательность. И я решил еще послушать прокурора, так как он стал говорить о моей душе.

Он сказал, что попытался заглянуть в мою душу, но не нашел ее. «Да, господа присяжные

заседатели, не нашел». Он говорил, что у меня в действительности нет души и ничто человеческое, никакие принципы морали, живущие в сердцах людей, мне недоступны.

— Мы, конечно, не станем упрекать его за это. Можно только пожалеть, что у него нет души, — ведь раз ее нет, ее не приобретешь. Но суд обязан обратить терпимость, эту пассивную добродетель, в иную, менее удобную, но более высокую добродетель — правосудие. Особенно в тех случаях, когда такая пустота сердца, какую мы обнаружили у этого человека, становится бездной, гибельной для человеческого общества.

И тут он стал говорить о моем отношении к маме. Он повторил все, что говорил вначале. Но говорил об этом гораздо дольше, чем о моем преступлении, — так долго, что в конце концов я уже не слушал и чувствовал только одно: утро невыносимо жаркое, нечем дышать. По крайней мере так было до той минуты, когда он остановился и после паузы заговорил тихо и проникновенно:

— Господа присяжные заседатели, завтра мы будем судить самое страшное из всех преступлений — отцеубийство.

Он заявил, что воображение наше отступает перед столь гнусным злодеянием. Он смеет наде-

яться, что правосудие не проявит слабости и по заслугам покарает злодея. Но он не боится сказать, что ужас, который внушает ему это преступление, почти не уступает тому ужасу, который он испытывает перед моей бесчувственностью. По его мнению, человек, который морально убил свою мать, сам исключил себя из общества людей, как и тот, кто поднял смертоубийственную руку на отца, давшего ему жизнь. Во всяком случае, первый показал дорогу второму, в некотором роде был его провозвестником и узаконил его злодеяние.

— Уверен, господа, — добавил он, возвышая голос, — вы не сочтете чересчур смелым мое утверждение, что человек, сидящий сейчас перед нами на скамье подсудимых, отвечает и за то убийство, которое мы будем судить завтра. Пусть же он понесет должное наказание.

Тут прокурор вытер платком свое лицо, блестевшее от пота. Потом сказал, что, как ни горестны его обязанности, он выполнил их с твердостью. Он заявил, что я порвал всякую связь с человеческим обществом, попрал основные его принципы и не могу взывать о сострадании, ибо мне неведомы самые элементарные человеческие чувства.

— Я требую у вас головы этого преступника, —

гремел он, — и требую ее с легким сердцем! Ведь если мне и случалось на протяжении уже долгой моей судебной деятельности требовать смертной казни подсудимого, то еще никогда я не понимал так, как сегодня, что этот тяжкий мой долг диктуется, подкрепляется, озаряется священным сознанием властной необходимости и тем ужасом, который я испытываю перед лицом человека, в коем можно видеть только чудовище.

Когда прокурор сел, довольно долго стояла тишина. У меня все в голове мешалось от жары и удивления. Председатель суда кашлянул и негромко спросил, не хочу ли я что-нибудь сказать. Я поднялся и, поскольку мне давно хотелось заговорить, сказал первое, что пришло в голову, — у меня не было намерения убить того араба. Председатель заметил, что это уже определенное утверждение и что до сих пор он плохо понимал мою систему защиты. Он будет очень рад, если я до выступления моего адвоката уточню, какими мотивами был вызван мой поступок. Я быстро сказал, путаясь в словах и чувствуя, как я смешон, что все случилось из-за солнца. В зале раздался хохот. Мой адвокат пожал плечами. Ему тут же дали слово. Но он заявил, что уже поздно — речь его займет несколько часов — и он просит

назначить его выступление после обеденного перерыва. Суд согласился.

Во второй половине дня лопасти больших вентиляторов опять перемешивали в зале заседаний плотный воздух, опять двигались, все в одну сторону, маленькие разноцветные веера присяжных заседателей. Мне казалось, что защитительная речь моего адвоката никогда не кончится. Но в какую-то минуту я насторожился, потому что он сказал: «Да, я убил — это правда». И дальше, продолжая в том же тоне, все говорил: «Я». Я очень удивился. Наклонившись к жандарму, я спросил, почему адвокат так говорит. Жандарм буркнул: «Молчи» и немного погодя ответил: «Все адвокаты так делают». А я подумал, что опять меня отстраняют, будто я и не существую, и в известном смысле подменяют меня. Впрочем, я уже был далеко от зала суда. К тому же мой адвокат казался мне смешным. Он скомкал свой тезис о самозащите, вызванной поведением араба, зато тоже заговорил о моей душе. Мне показалось, что у него куда меньше ораторского таланта, чем у прокурора.

— Я тоже заглянул в эту душу, — сказал он, — но в противоположность уважаемому представителю прокуратуры я многое нашел в ней и

могу сказать, что я читал в ней как в раскрытой книге.

Он прочел там, что я честный, усердный, неутомимый труженик, преданный той фирме, в которой служил, человек, любимый всеми и сострадательный к несчастьям ближних. По его словам, я был примерным сыном, содержавшим свою мать до тех пор, пока мог это делать.

— Под конец жизни матери он поместил ее в приют для престарелых, надеясь, что там она найдет комфорт, который сам он при своих скромных средствах не мог ей предоставить. Удивляюсь, господа, — добавил он, — что поднялся такой шум вокруг этого приюта. Ведь если бы понадобилось доказывать пользу и высокое значение таких учреждений, то достаточно было бы сказать, что средства на них отпускает само государство.

Адвокат даже не упомянул о похоронах, и я почувствовал, что это пробел в его речи. Впрочем, из-за всех этих бесконечных фраз, бесконечных дней судебного разбирательства, бесконечных часов, когда столько рассуждали о моей душе, у меня кружилась голова, мне казалось, что вокруг льются, льются и все затопляют волны мутной реки.

Помню, как в середине речи моего адвоката

через весь зал, через места для судей, места для публики пронесся и долетел до меня приятный звук рожка, в который трубил мороженщик. И на меня нахлынули воспоминания о прежней жизни, той, что мне уж больше не принадлежит, жизни, даривше мне очень простые, но незабываемые радости: запахи лета, любимый квартал, краски заката в небе, смех и платья Мари. А от всего ненужного, зряшного, того, что я делал в этом зале, мне стало тошно, и я хотел только одного: поскорее вернуться в камеру и уснуть. Я едва слышал, как мой защитник вопил в заключение своей речи, что присяжные заседатели, конечно, не захотят послать на гильотину честного труженика, погубившего себя в минутном ослеплении, что в моем деле имеются смягчающие обстоятельства, а за свое преступление я уже несу и вечно буду чести тягчайшую кару — неизбывное раскаяние и укоры совести. Был объявлен перерыв, и адвокат, казалось, еле живой, сел на свое место. Но коллеги потянулись к нему для рукопожатия. Я слышал их восклицания: «Великолепно, дорогой мой!» Один даже призвал меня в свидетели. «Правда?» — сказал он. Я подтвердил, но мое одобрение не было искренним — я очень устал.

А день уже клонился к вечеру, жара спадала.

По некоторым звукам, доносившимся с улицы, я угадывал, что наступает сладостный час сумерек. Мы все сидели, ждали. А то, чего ждали все здесь собравшиеся, касалось только меня. Я еще раз посмотрел на публику. Все были такими же, как и в первый день. Я встретился взглядом с журналистом в сером пиджаке и с женщиной-автоматом. И тут я подумал, что еще ни разу с самого начала процесса не отыскивал взглядом Мари. Я не позабыл ее, но у меня было слишком много дел. Я увидел, что она сидит между Селестом и Раймоном. Она сделала мне легкий знак, как будто хотела сказать: «Наконец-то!», и я увидел улыбку на ее встревоженном лице. Но мое сердце так и не раскрылось, я даже не мог ответить на ее улыбку.

Суд возвратился. Очень быстро зачитали список вопросов, обращенных к присяжным заседателям. Я расслышал: «виновен в убийстве»... «предумышленность»... «смягчающие обстоятельства». Присяжные вышли из зала, а меня увели в ту маленькую комнату, где я ждал в первый день. Ко мне подошел мой адвокат и очень пространно, с такой уверенностью, с такой сердечностью, с какой еще ни разу не говорил со мной, сообщил, что все идет хорошо и я отдела-

юсь несколькими годами тюрьмы или каторги. Я спросил, есть ли возможность кассации в случае неблагоприятного приговора. Он ответил, что нет… Его тактика, оказывается, состояла в том, чтобы не навязывать присяжным заседателям определенных предложений и тем самым не сердить их. Он объяснил мне, что в таких процессах, как мой, нельзя рассчитывать на кассацию приговора из-за каких-нибудь нарушений формальностей. Это мне показалось очевидной истиной, и я согласился с его соображениями. Если хладнокровно посмотреть на дело, это было вполне естественным. Иначе заводили бы слишком много ненужной писанины.

— Во всяком случае, — сказал мне адвокат, — можно просить о помиловании. Однако я уверен, что исход будет благоприятным.

Мы ждали очень долго, думается, около часа. Наконец раздался звонок. Адвокат пошел в зал, сказав мне: «Сейчас старшина присяжных заседателей прочтет их ответы. Вас введут в зал только для объявления приговора».

Захлопали двери. По лестницам побежали люди, я не понял где: близко или далеко. Потом я услышал, как в зале суда чей-то голос глухо читает что-то. А когда опять раздался звонок и

отворилась дверь в загородку для подсудимых, на меня надвинулось молчание зала, молчание и странное ощущение, охватившее меня, когда я заметил, что молодой журналист отвел глаза в сторону. Я не взглянул на Мари. Я не успел, потому что председатель суда объявил — в какой-то странной форме — «от имени французского народа», что мне отрубят голову и это будет произведено публично, на площади. И тогда у всех на лицах я прочел одно и то же чувство. Мне кажется, это было уважение. Жандармы стали очень деликатны со мной. Адвокат положил свою ладонь на мою руку. Я больше ни о чем не думал. Но председатель суда спросил, не хочу ли я что-нибудь добавить. Я подумал и сказал: «Нет». И тогда меня увели.

V

Я в третий раз отказался принять священника. Мне нечего ему сказать, я не хочу с ним говорить, я и без того очень скоро его увижу. Сейчас меня интересует другое: как избежать механического хода событий, узнать, есть ли выход из неизбежного. Меня перевели в другую камеру. Теперь, когда я лежу на койке, то вижу небо, одно лишь небо. И время провожу в том, что созерцаю, как на светлом его лике постепенно меркнут краски и день сменяется ночью. Ложусь, подкладываю руки под голову и жду. Не знаю, сколько раз я задавался вопросом, бывали ли случаи, когда смертники ускользали от неумолимого механизма, исчезали раньше казни, прорвав полицейские кордоны. Я корил себя за то, что не обращал прежде внимания на рассказы о казнях. Следовало интересоваться этим вопросом. Никогда не знаешь, что может с тобой случиться. Как и все, я читал в газетах отчеты репортеров. Но несомненно, существуют работы, специально посвященные казням, а меня никогда не тянуло заглянуть в эти книги. Быть может, там я нашел бы рассказы о побегах. Быть может, я узнал бы,

что хоть в одном случае колесо остановилось, и один раз, хотя бы один только раз, случай и удача что-то изменили в его назначенном, предустановленном движении. Один раз! В известном смысле мне этого было бы достаточно. Мое сердце довершило бы остальное. Газеты часто писали о долге преступников перед обществом, о том, что смертная казнь — это уплата долга. Но такие тирады ничего не говорят воображению. То ли дело возможность бегства, возможность нарушить установленный ритуал, совершить безумный поступок, который даст всяческие надежды. Разумеется, надежды особого порядка: надежды на то, что тебя схватят и прикончат на углу улицы или всадят тебе на бегу пулю в затылок. Но во зрелом размышлении такая роскошь была для меня совершенно недоступна — механизм казни не выпустит меня.

При всем желании я не мог согласиться с наглой неизбежностью. Ведь существовало такое нелепое несоответствие между приговором, обосновавшим ее, и невозмутимым действием механизма казни с того момента, как суд вынес решение. То, что приговор был зачитан не в пять часов вечера, а в восьмом часу, что он мог быть совсем другим, что его вынесли податли-

вые, угодливые люди да еще приплели к нему французский народ (понятие расплывчатое и имеющее к данному случаю такое же отношение, как немецкий или китайский народ) — все это, по-моему, в значительной мере лишало серьезности подобное решение. Однако я должен был признать, что с той секунды, как оно было принято, последствия его стали столь же несомненны, столь же серьезны, как наличие тюремной стены, вдоль которой я вытягивался, лежа на койке.

В эти часы мне вспоминалась история с моим отцом, о которой мне рассказывала мама. Я его не знал. И из всего, что я слышал о нем, пожалуй, точнее всего был мамин рассказ: оказывается, отец ходил смотреть на казнь какого-то убийцы. Ему становилось плохо при одной мысли об этом зрелище. Но все-таки он пошел, а когда вернулся домой, его рвало почти все утро. После этого рассказа я почувствовал некоторое отвращение к отцу. Однако теперь я понимал его: ведь это было так естественно. Как же я не знал, что нет ничего важнее смертной казни и что, в общем, это единственно интересное для человека зрелище. Если я когда-нибудь выйду из тюрьмы, то непременно буду ходить смотреть, как отрубают людям головы. Впрочем, напрасно я думал о такой воз-

можности, напрасно представлял себе, что вот меня выпустили на свободу, и я на рассвете стою за кордоном полицейских, так сказать, по другую сторону, и гляжу на казнь, а потом меня рвет от такого зрелища, — от этих мыслей радость ядовитой волной переполняла мое сердце. Право, все это было сущее безрассудство: тотчас же меня охватывал холод, такой ужасный холод, что я весь съеживался, дрожал под одеялом и стучал зубами, не в силах от этого удержаться.

Но ведь нельзя же всегда быть рассудительным. Иногда я составлял проекты законов, перестраивал уголовный кодекс. Я полагал, что очень важно оставить приговоренному некоторый шанс на спасение. В одном-единственном случае на тысячу — этого было бы достаточно — это уладило бы очень многое. Так мне казалось. Можно было бы найти химическое соединение, которое убивало бы пациента (я так и говорил мысленно: «Пациента») в девяти случаях из десяти. Пациенту это было бы известно (условие обязательное). Ведь хорошенько поразмыслив и глядя на вещи спокойно, я приходил к выводу, что гильотина плоха тем, что ее нож не оставляет никакого шанса, совершенно никакого. В общем, гильотина — это верная смерть. Это дело

решенное, комбинация определенная, установленная раз и навсегда и бесповоротно. Если нож гильотины в виде исключения промахнется, удар повторят. Приговоренному оставалось только пожелать, как это ни неприятно, чтобы механизм гильотины действовал безотказно. Я находил, что это недостаток в системе смертной казни. Но с другой стороны, вынужден был признать, что в нем-то и заключается секрет ее великолепной организации. Приговоренный обязан морально участвовать в казни. В его интересах, чтобы она протекала без сучка, без задоринки.

Мне пришлось убедиться также, что раньше у меня были неверные представления в этих вопросах. Я долго воображал — не знаю уж почему, — что гильотину ставят на эшафот и приговоренный должен подняться туда по ступенькам. Вероятно, мне это казалось из-за революции 1789 года, так нам рассказывали в книгах и показывали на картинах. Но однажды утром мне вспомнилась помещенная в газетах фотография, иллюстрирующая репортаж о нашумевшей казни. Гильотина была поставлена просто-напросто на земле. И она была узкая — гораздо уже, чем я думал. Как странно, что я раньше не вспомнил об этом. Машина, показанная на га-

зетном клише, поразила меня еще и тем, что она была похожа на прекрасно отделанный, острый и блестящий, точный инструмент. Всегда создаешь себе преувеличенные представления о том, чего не знаешь. Мне пришлось убедиться, что все происходит весьма просто: машину ставят на одном уровне с приговоренным. Он подходит к гильотине, как люди идут навстречу знакомому. И это показалось мне весьма прозаичным. Другое дело эшафот: смертник поднимается по ступеням, вырисовывается на фоне неба — есть от чего разыграться воображению. А тут что ж? Все подавляет механика: приговоренному отрубают голову как-то скромно, стыдливо, но с большой точностью.

И было еще два обстоятельства, о которых я все время думал: утренняя заря и мое ходатайство о помиловании. Я старался себя образумить и больше не думать об этом. Вытянувшись на койке, я смотрел в небо, старался с интересом наблюдать за переменами в нем. Вот оно становится зеленоватым, значит, близится вечер. Потом я пытался изменить ход мыслей: прислушивался к биению сердца. И никак не мог вообразить, что этот равномерный стук, так долго сопровождавший мое существование, когда-нибудь может

прекратиться. У меня никогда не было богатого воображения. И все же я пытался представить себе, что в какое-то мгновение удары сердца уже не отзовутся в моей голове. Но все было напрасно. Я не мог отогнать мыслей о рассвете и ходатайстве о помиловании. В конце концов я решил, что разумнее всего не принуждать себя.

«Они» приходят на рассвете — я это знал. И в общем, я все ночи ждал рассвета. Я никогда не любил, чтобы меня заставали врасплох. Раз что-то должно случиться со мной, я хотел быть наготове. В конце концов я спал очень мало — и то лишь днем, а все ночи напролет не смыкая глаз терпеливо ждал, когда же вверху, за окном, забрезжит свет. Самым тяжким был тот страшный час, когда «они» обычно являлись. Уже с полуночи я настороженно прислушивался и ждал. Еще никогда я не различал столько шумов, столько подозрительных звуков. Могу, впрочем, сказать, мне в некотором смысле везло: за все это время я ни разу не слышал звука шагов. Мама нередко говорила, что человек никогда не бывает совершенно несчастен. Я это испытал в тюрьме, когда заря окрашивала небо и свет нового дня просачивался в мою камеру. Ведь я же мог в этот миг услышать шаги, и у меня разорвалось

бы сердце. При малейшем шорохе я бросался к двери, приникал к ней ухом и в ужасе ждал, пока не догадывался, что слышу собственное свое дыхание, и пугался, что оно такое хриплое, как у запыхавшейся собаки, но все-таки сердце у меня не разрывалось, все-таки я мог еще прожить целые сутки.

А днем меня преследовали мысли о помиловании. Мне думается, что я извлек из них самое лучшее заключение. Я оценивал, насколько убедительно мое ходатайство, делал выводы из своих рассуждений. Я всегда исходил из самого худшего: в помиловании мне отказано. «Ну что я, я умру». Раньше, чем другие, — это несомненно. Но ведь всем известно, что жизнь не стоит того, чтобы цепляться за нее. В сущности, не имеет большого значения, умрешь ли ты в тридцать или в семьдесят лет, — в обоих случаях другие-то люди, мужчины и женщины, будут жить, и так идет уже многие тысячелетия. Все, в общем, ясно. Я умру — именно я, теперь или через двадцать лет. Но всегда, к смущению моему, меня охватывала яростная вспышка радости при мысли о возможности прожить еще двадцать лет. Оставалось только подавить этот порыв, представив себе, что за мысли были бы у меня через двадцать

лет, когда мне все-таки пришлось бы умереть. Раз уж приходится умереть, то, очевидно, не имеет большого значения, когда и как ты умрешь. А следовательно (помни, какой вывод влечет за собою это слово!), следовательно, я должен примириться с тем, что мне откажут в помиловании.

И с этой минуты, только с этой минуты я, так сказать, имел право, давал себе разрешение перейти к другой гипотезе: меня помилуют. Как трудно было укротить бурный ток крови, пробегавший тогда в жилах, разливавшийся по всему телу, нелепую радость, от которой у меня темнело в глазах. Приходилось заглушать этот крик души, стараться образумить себя. При этой гипотезе надо было дать волю естественным чувствам, чтобы стало более весомым мое смирение при ином предположении. Если мне удавалось побороть себя, я обретал целый час спокойствия. Все-таки выигрыш!

Именно в такую минуту я и отказался принять священника. Я лежал на койке и смотрел в оконце, угадывая приближение летнего вечера по бледнеющей синеве неба. Перед этим мне удалось убедить себя, что мое ходатайство о помиловании, несомненно, будет отклонено, и я чувствовал, как ровно течет у меня по жилам

кровь. Зачем мне был священник? Впервые за долгий срок я вспомнил Мари. Она уже давно перестала мне писать. В тот вечер я, поразмыслив, решил, что ей, вероятно, надоело считаться возлюбленной убийцы, приговоренного к смертной казни. Мне пришла также мысль, что, быть может, она больна или даже умерла. Это могло случиться. Но как мне знать об этом? Ведь теперь, когда физически мы были разъединены, ничто нас не связывало и не влекло друг к другу. Воспоминания о Мари стали для меня безразличны. Мертвая — она не интересовала меня. Я находил это нормальным, так же как считал вполне понятным, что люди забудут меня после моей смерти. Зачем тогда я буду им нужен? Не могу сказать, что такая мысль была горька для меня.

И как раз в эту минуту вошел священник. Я вздрогнул, увидев его. Он это заметил и попросил меня не пугаться. Я сказал, что обычно он приходит в другие часы. Он ответил, что зашел просто так, по-дружески, и его посещение нисколько не связано с моим ходатайством о помиловании: он ничего не знает о судьбе прошения. Усевшись на мою койку, он предложил мне сесть возле него. Я отказался. Однако мне понравился его кроткий вид. Довольно долго он сидел молча и, опершись

локтями о колени, понурившись, смотрел на свои руки. Руки у него были топкие и мускулистые, напоминавшие проворных зверьков. Он медленно потирал их.

Потом замер, все так же понурив голову, и долго сидел неподвижно. На минуту я даже забыл о нем.

Но вдруг он вскинул голову и посмотрел мне в лицо.

— Почему вы отказываетесь принимать меня, когда я прихожу? — спросил он.

На это я ответил, что не верю в бога. Он осведомился, убежден ли я в своем неверии. И я сказал, что мне нечего и спрашивать себя об этом: вопрос о боге не имеет для меня никакого значения. Он откинулся назад и, прислонившись к стене, положил руки на колени. С таким видом, как будто он и не обращается ко мне, он заметил, что иногда люди считают себя неверующими, а в действительности это совсем не так. Я промолчал. Он посмотрел на меня и спросил:

— Что вы об этом думаете?

Я ответил, что это вполне возможно. Во ВСЯКОМ случае, со мной дело обстоит следующим образом: я, может быть, не всегда уверен в том, что именно меня интересует, но совершенно уверен

в том, что не представляет для меня никакого интереса. И как раз то, о чем он говорит, меня совершенно не интересует.

Он отвел глаза в сторону и, не меняя позы, спросил, не говорю ли я так от безмерного отчаяния. На это последовал ответ, что я не впал в отчаяние — мне только страшно, но ведь это вполне естественно.

— Господь поможет вам, — отозвался он. — Мне известно, что все, кто были в таком же положении, как вы, обращались к богу.

Я признал, что это их право. А кроме того, у них, значит, было на это время. Но я вовсе не ищу ничьей помощи, да у меня и времени недостанет — я просто не успел бы заинтересоваться тем вопросом, который меня никогда не интересовал.

Он раздраженно махнул рукой, но сейчас же выпрямился и поправил складки своей сутаны. Закончив прихорашиваться, он обратился ко мне, назвав меня при этом «брат мой», и сказал, что если он говорит со мной о боге, то вовсе не потому, что я приговорен к смерти; по его мнению, мы все приговорены к смерти. Но я прервал его, сказав, что это совсем не одно и то же и, уж во всяком случае, всеобщая обреченность не может служить для меня утешением.

— Конечно, — согласился он. — Но если ВЫ и не умрете сегодня, то все равно умрете, только позднее. И тогда возникнет тот же вопрос. Как вы подойдете к столь ужасному испытанию?

Я ответил, что подойду совершенно так же, как сейчас. Он встал при этих моих словах и посмотрел мне в глаза. Такую игру я хорошо знал. Я нередко забавлялся ею с Эмманюэлем или Селестом, и обычно они первые отводили взгляд. Священник, как видно, тоже был натренирован в этой игре: он, не моргая, смотрел на меня. И голос у него не задрожал, когда он сказал мне:

— Неужели у вас нет никакой надежды? Неужели вы думаете, что умрете весь?

— Да, — ответил я.

Тогда он опустил голову и снова сел. Он сказал, что ему жаль меня. Он считает, что такая мысль нестерпима для человека. Но я чувствовал только то, что он начинает мне надоедать. Я в свою очередь отвернулся от него, отошел к окошку и встал под ним, прислонившись плечом к стене. Не очень-то прислушиваясь к его словам, я все-таки заметил, что он опять принялся вопрошать меня. Он говорил тревожно, настойчиво. Я понял, что он взволнован, и стал тогда слушать более внимательно.

Он выразил уверенность, что мое прошение о помиловании будет удовлетворено, но ведь я несу бремя великого греха, и мне необходимо сбросить эту ношу. По его мнению, суд человеческий — ничто, а суд божий — все. Я заметил, что именно суд человеческий вынес мне смертный приговор. Но священник ответил, что сей суд не смыл греха с моей совести. Я сказал, что о грехах на суде речи не было. Мне только объявили, что я преступник. И, как преступник, я расплачиваюсь за свое преступление, а больше от меня требовать нечего. Он снова встал, и я тогда подумал: хочет подвигаться, но в такой тесноте выбора нет — или сиди, или стой.

Я стоял, уставившись в пол. Духовник сделал шаг, как будто хотел подойти ко мне, и остановился в нерешительности. Он смотрел на небо, видневшееся за решеткой окна.

— Вы ошибаетесь, сын мой, — сказал он, — от вас можно потребовать больше. Может быть, с вас и потребуют.

— А что именно?

— Могут потребовать, чтобы вы увидели.

— Что я должен увидеть?

Он посмотрел вокруг и ответил с глубокой и такой неожиданной усталостью в голосе:

— Я знаю, эти камни источают скорбь. Я никогда не мог смотреть на них без мучительной тоски. Но я знаю, сердцем знаю, что даже самые жалкие из вас видели, как во мраке темницы вставал перед ними лик божий. Вот с вас и требует господь, чтобы вы увидели его.

Я немного взволновался. Сказал, что уже много месяцев смотрю на эти стены. Нет ничего и никого на свете более знакомого для меня. Может быть, когда-то, уже давно, я искал тут чей-то лик. Но он сиял как солнце, горел пламенем желания: это было лицо Мари. Напрасно я искал его. Теперь все кончено. И во всяком случае, я не видел ничего, что возникало бы из скорби, источаемой этими камнями.

Священник посмотрел на меня с какой-то печалью. Я прислонился спиной к стене, и свет падал мне на лоб. Священник что-то сказал, я не расслышал слов, а потом он очень быстро спросил, можно ли ему обнять меня.

— Нет! — ответил я.

Он повернулся и, подойдя к стене, медленно провел по ней ладонью.

— Неужели вы так любите эту землю? — сказал он вполголоса.

Я ничего не ответил.

Довольно долго он стоял лицом к стене. Его присутствие было мне тягостно, раздражало меня. Я хотел было сказать ему, чтобы он ушел, оставил меня в покое, но вдруг он повернулся ко мне и как-то исступленно воскликнул:

— Нет, я не могу этому поверить! Я убежден, что вам случалось желать вечной жизни.

Я ответил, что, разумеется, случалось, но в таком желании столько же смысла, сколько в желании вдруг разбогатеть, или плавать очень быстро, или стать красавцем. Все это мечтания одного порядка. Но священник остановил меня: ему вздумалось узнать, какой я представляю себе загробную жизнь. Тогда я крикнул ему:

— Такой, чтобы в ней я мог вспоминать земную жизнь!

И тотчас я сказал, что с меня хватит этих разговоров. Он еще хотел было потолковать о боге, но я подошел к нему и в последний раз попытался объяснить, что у меня осталось очень мало времени и я не желаю тратить его на бога. Он попробовал переменить тему разговора — спросил, почему я называю его «господин кюре», а не «отец мой». У меня не выдержали нервы, я ответил, что он не мой отец, он в другом лагере.

— Нет, сын мой, — сказал он, положив мне руку

на плечо. — Я с вами, с вами. Но вы не видите этого, потому что у вас слепое сердце. Я буду молиться за вас.

И тогда, не знаю почему, у меня что-то оборвалось внутри. Я заорал во все горло, стал оскорблять его, я требовал, чтобы он не смел за меня молиться. Я схватил его за ворот. В порывах негодования и злобной радости я изливал на него то, что всколыхнулось на дне души моей. Как он уверен в своих небесах! Скажите на милость! А ведь все небесные блаженства не стоят одного-единственного волоска женщины. Он даже не может считать себя живым, потому что он живой мертвец. У меня вот как будто нет ничего за душой. Но я-то хоть уверен в себе, во всем уверен, куда больше, чем он, — уверен, что я еще живу и что скоро придет ко мне смерть. Да, вот только в этом я и уверен. Но по крайней мере я знаю, что это реальная истина, и не бегу от нее. Я был прав, и сейчас я прав и всегда был прав. Я жил так, а не иначе, хотя и мог бы жить иначе. Одного я не делал, а другое делал. И раз я делал это другое, то не мог делать первое. Ну что из этого? Я словно жил в ожидании той минуты бледного рассвета, когда окажется, что я прав. Ничто, ничто не имело значения, и я хорошо знал почему. И он, этот

священник, тоже знал почему. Из бездны моего будущего в течение всей моей нелепой жизни подымалось ко мне сквозь еще не наставшие годы дыхание мрака, оно все уравнивало на своем пути, все доступное мне в моей жизни, такой ненастоящей, такой призрачной жизни. Что мне смерть «наших ближних», материнская любовь, что мне бог, тот или иной образ жизни, который выбирают для себя люди, судьбы, избранные ими, раз одна-единственная судьба должна была избрать меня самого, а вместе со мною и миллиарды других избранников, даже тех, кто именует себя, как господин кюре, моими братьями. Понимает он это? Понимает? Все кругом — избранники. Все, все — избранники, но им тоже когда-нибудь вынесут приговор. И господину духовнику тоже вынесут приговор. Будут судить его за убийство, но пошлют на смертную казнь только за то, что он не плакал на похоронах матери. Что тут удивительного? Собака старика Саламано дорога ему была не меньше жены. Маленькая женщина-автомат была так же во всем виновата, как парижанка, на которой женился Массон, или как Мари, которой хотелось, чтобы я на ней женился. Разве важно, что Раймон стал моим приятелем так же, как Селест, хотя Селест во сто раз лучше

его? Разве важно, что Мари целуется сейчас с каким-нибудь новым Мерсо? Да понимает ли господин кюре, этот благочестивый смертник, что из бездны моего будущего… Я задыхался, выкрикивая все это. Но священника уже вырвали из моих рук, и сторожа грозили мне. Он утихомирил их и с минуту молча смотрел на меня. Глаза у него были полны слез. Он отвернулся и вышел.

И тогда я сразу успокоился. Я изнемогал и без сил бросился на койку. Должно быть, я заснул, потому что увидел над собою звезды, когда открыл глаза. До меня доносились такие мирные, деревенские звуки. Виски мои овевала ночная прохлада, напоенная запахами земли и моря. Чудный покой тихой летней ночи хлынул в мою грудь, как волна прилива. И в эту минуту где-то далеко во мраке завыли пароходные гудки. Они возвещали, что корабли отплывают в далекий мир, который был мне теперь (и уже навсегда) безразличен. Впервые за долгий срок я подумал о маме. Мне казалось, что я понимаю, почему она в конце жизни завела себе «жениха», почему она играла в возобновление жизни. Ведь там, вокруг богадельни, где угасали человеческие жизни, вечера тоже были подобны грустной передышке. На пороге смерти мама, вероятно, испытывала

чувство освобождения и готовности все пережить заново. Никто, никто не имел права плакать над ней. И как она, я тоже чувствую готовность все пережить заново. Как будто недавнее мое бурное негодование очистило меня от всякой злобы, изгнало надежду и, взирая на это ночное небо, усеянное знаками и звездами, я в первый раз открыл свою душу ласковому равнодушию мира. Я постиг, как он подобен мне, братски подобен, понял, что я был счастлив и все еще могу назвать себя счастливым. Для полного завершения моей судьбы, для того, чтобы я почувствовал себя менее одиноким, мне остается пожелать только одного: пусть в день моей казни соберется много зрителей и пусть они встретят меня криками ненависти.